

Валерий
Михайлов



ИВОЛГА, ЛЕСА ОТШЕЛЬНИЦА

Книга о Николае Заболоцком

Глава первая ДУША, ПОЛНАЯ ТАИН

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

В середине двадцатых годов прошлого столетия молодой ленинградский стихотворец Коля Заболотский вдруг начал подписывать свои изредка появляющиеся в печати сочинения именем Николай Заболоцкий.

Друзья, знакомые и приятели немного удивились, но расспрашивать, что да почему, по-видимому, не стали. В конце концов дело хозяйское, сегодня зовёшься так, завтра эдак. В те годы сменить имя было за обычай, тем более в творческой среде. Подумаешь, чуть-чуть подправил свою исконную вятскую фамилию в ударении и написании. Зазвучало, правда, немного на польский манер, но в общем даже чётче, благозвучнее. Словом, привыкли постепенно да и выбросили из головы...

Время-то какое тогда было — время псевдонимов. Ярких, звонких, громких! В прошлые десятилетия в общественной жизни негласно властвовало народовольчество. Как отголоски этого движения вместо какого-нибудь заурядного Петрова вдруг являлся загадочный *Скиталец*. Или же неприметный и непритязательный Пешков неожиданно становился *Максимом Горьким*. Каково! Такие имена сразу же врезаются в память читающей публики. Сразу видно — мятежники духа, страдальцы за народ.

Серебряный век литературы установил уже несколько иные каноны, утончённые и романтические. Разве может поэт, к примеру, называться Бугаевым? Топорно, грубовато, перед барышнями стыдно. Совсем другое дело — Андрей Белый. А Гликберг?.. эдакое и выговорить трудно. Не угодно ли — Саша Чёрный? Изящно, звучно и под стать ироническим стихам. Юная Аня Горенко выступила таинственной Анной Ахматовой. (Впрочем, не самочинно — строгий отец повелел своевольной девице:

Журнальный вариант. Книга выходит в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».



если уж не можешь не сочинять своих стишков, так хоть не позорь нашу фамилию, печатайся под псевдонимом.)

Времена революционные продиктовали новые правила. Бойкий творец рифмованных агиток Ефим Придворов сообразил: имечко-то старорежимное, папахивает лакейской. И подарил себе новое, классово-верное – Демьян Бедный. Хотя отнюдь не бедствовал... Некто Эпштейн, совершенно в том же ключе, сделался Михаилом Голодным (и он не «голодовал»). Что уж говорить о таких непривычных для кондового русского слуха фамилиях, как Дзюбин и Шейнкман? В советскую литературу они гордо вступили Багрицким и Светловым...

Что же касается горлана-главаря революционной поэзии Маяковского, то ему и менять ничего не надо было. Читателям он представлялся не иначе как светильником во тьме, спасительным для заблудших мореплавателей. Однако, заметим, эта фамилия скорее всего имела совсем другое значение: на Руси (см. словарь Даля) *маяками*, или *маклаками*, назывались сводчики, посредники при продаже и купле, маклеры, прасолы, кулаки, барышники, базарные плуты.

Непревзойдённым же в своём революционном пыле стал на долгие годы (прожил более века) бывший одесский, а затем московский куплетист Александр Давыдович Брянский, взявший псевдоним по цвету знамени – Саша Красный.

Но что рассуждать о литераторах, когда сам нарком просвещения Советской республики носил странное, завораживающее имя – Луначарский. Даже не пирожное – сплошной крем. Тоже ведь псевдоним – правда, доставшийся по наследству от отчима Чарнолуского, который, несомненно, из общей тяги к прекрасному, переставив слоги, так переименовал свою природную фамилию. Видно, и Анатолию Васильевичу, урождённому Антонову, не чуждому литераторства, эта переделка приглянулась, коль скоро он не расстался с нею.

Не чурались того, чтоб зваться «покрасивше», и пламенные революционеры. Конечно, в подпольной пропагандистской работе им приходилось частенько обновлять псевдонимы, но отметим, какие из них в итоге утвердились. Джугашвили избрал стальное имя Сталин, его соратник Скрябин – железное Молотов. Ну, и так далее...

Случай Коли Заболотского, недавнего ленинградского студента, до самозабвения увлечённого стихами, всё же особый.

Он не искал броскости и красоты – он словно бы подчинился духу поэзии и своего поэтического долга.

Ведь что такое поэт? Это новое качество. Это преображённое слово.

Ещё недавно, томясь неведомым зовом, ползала по земле зелёная, неотличимая от травы гусеница. Мгновение – и вот, высвободившись из засыхающего и ненужного уже кокона, это существо обретает крылышки и взлетает в воздух, в небо. Оно преображается вдруг в диковинную бабочку, предназначенную для полёта. Не так ли из стихотворца появляется поэт.

...Что там, разоблачая ползучую тварь, высокопарно утверждал в своей *крылатой фразе* основоположник метода социалистического реализма Алексей Максимович Горький, в молодости баловавшийся стихами? Дескать, рождённый ползать летать не может? – Ещё как может!

Чудо бабочки тому доказательство.

Бабочка белая! Бабочка белая!

В травах горячих земля.

Там, за притихшей лесною капеллю,

Слышится всхлип журавля.

Речка бежит, загигая за просеку,
Жёлтый погнавши листок.
Бабочка белая с чёрненьким носиком!
Лето пошло на восток.

Чуешь, как мир убегает в ту сторону –
Горы, леса, облака?
Сосны гудят – и старинному ворону
Прошлые снятся века.

Сколько жилось ему смолоду, смолоду
В гулкой лесной глубине?!
Ты же погибнешь по первому холоду.
Много ль держаться и мне!..

Думы наплыли, а сосны качаются,
Жёлтый кружится листок.
Речка бормочет. Глаза закрываются.
Время бежит на восток...

Пусть же послышится песня знакомая
Там, за Вечерней Звездой.
Может, и мы здесь июльскими дрёмами
Завтра проведем с тобой.

Годы промчатся, как соколы смелые,
Мир не устанет сиять...
Бабочка белая! Бабочка белая!
Кто бы родил нас опять!

Так написал, десятилетия спустя, совсем другой поэт, Николай Иванович Тряпкин, и не подумавший расстаться со своей «некрасивой» фамилией...

Однако каждый решает по-своему – и, наверное, по-своему прав.

...В родовом его имени *Заболотский* словно бы жил Русский Север, с его просторами, лесными далями, болотами; в самом звучании дышала родная вятская земля, окутанная долгими туманами, её реки, озёра, задумчивые небеса. Новое имя сделалось отчётливей, резче: акварель сменилась графикой. Прежняя жизнь ушла насовсем, и вслед за нею будто бы стала неуместной и та исконная напевность, что звучала в прозвании, которое носили предки.

С детства сочиняя стихи, Коля Заболотский окончательно утвердился в себе как поэт годам к двадцати пяти. И, только твёрдо, ясно и бесповоротно осознав это, сменил фамилию, доставшуюся от предков.

В новом имени *Заболоцкий* зазвучал чеканный шаг анапеста – классический ритм стихов. (Заметим в скобках – как прообраз самой поэтической классики, к которой Николай Алексеевич после ранних новаторских опытов обратился в зрелом творческом возрасте.) Поступь решительная, пожалуй, даже фатальная, роковая. И лишь последний, безударный слог, оставшийся в неизменности, сохранил нечто от старого имени. Этот четвёртый слог был похож на выдох в пространство земли, в его открытое небо...

Поэт не мог не слышать чужеродного звука, что появился в его обновлённой фамилии, не мог не понимать, что самым этим поступком отстраняется от семьи, от своего прошлого.

Он словно бы прощался и с отцом-агрономом, и с дедами-крестьянами, и со всей *родовой*, подчёркивая своё новое качество.

Это было символическое прощание с прошлым.

Был Заболотский – стал Заболоцкий.

Была фамилия – возникло имя.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖАНРЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Говорят, чужая душа потёмки. Опровергнуть невозможно – остаётся принимать за истину. Темноватую, однако, истину...

Со временем понимаешь: да что там – *чужая*, когда и своя-то отнюдь не вполне ясна!

Лев Николаевич Толстой, всю жизнь пытавшийся познать себя (ну, разумеется, и человека, и мир вокруг, – даже на смертном одре он до последнего часа диктовал для записи свои мысли), как-то заметил в дневнике: «Биограф знает писателя и описывает его! Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою, только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне». – Не иначе накануне что-то прочёл про себя, про свою жизнь. Прочёл – и подивился. Не столько дерзости или же наглости жизнеописателя, сколько глубине своих потёмок...

Если взглянуть «с холодным вниманьем вокруг» – ни космос души, ни уж тем более её хаос понять просто невозможно. И это касается не только чужой души, но и своей. А стало быть, жизнь другого или же своя – до конца непознаваема.

Наверное, один Бог знает всё и про всех. Лишь Ему открыты – во всей полноте – наши души и жизни.

Расхожая приговорка: «Бог его знает?» привычно понимается нами как: кто же это знает? Но не отвечает ли сама она, в буквальном своём смысле, на поставленный ею же вопрос?

Только Бог (как это странно ни прозвучит) и мог бы стать единственно истинным жизнеописателем. Потому что лишь Ему ведомы все поступки, мысли и чувства человека. Но не Божье это дело – писать биографии...

Наши мысли и чувства неотделимы друг от друга, и, пожалуй, их лучше бы называть одним словом – *мыслечувства*. Таинственно они настояны на прапамяти – и подпитываются памятью. Духовное, душевное и физическое в человеке находится в столь сложной взаимозависимости, что всё это вряд ли возможно в точности определить словами.

Тем не менее нашего любознания ничем не унять, – такова природа человека. Чем значительнее, ярче личность, тем притягательнее она как предмет самопознания человечества. И потому замечательный человек вызывает такой жадный, непреходящий интерес как у исследователей и толкователей, так и у обычных людей – вне зависимости от того, когда он жил на свете и насколько известна правда о нём и его земном существовании. Не оттого ли биография – вечный жанр литературы?

Естественно и очевидно: ни одна такая книга, даже самая выдающаяся, не может исчерпать своей темы – жизни того или иного человека. Но даже и множество книг, посвящённых одному герою, не в силах установить окончательную истину: предмет исследования всё равно останется недостижим, как ускользающий в непомерную даль горизонт. Всякий раз это только попытка приблизиться к тому, что столь же недостижаемо, как и влекуще...

Так надо ли писать биографии? Вот, к примеру, прозаик Михаил Попов недавно придумал хлёсткий афоризм: «ЖЗЛ – враньё о реальных людях, беллетристика – правда о вымышленных». Куда как верно, на первый взгляд.

Однако есть Творец с его Творением – и есть творцы с их творениями.

Биограф пытается приблизиться к истине, доступной лишь Творцу.

Да, жизнеописатель обречён на поражение.

А беллетрист? Неужто он в самом деле воображает, что знает то, что ведаёт лишь один Творец?

Правда беллетриста – вымышленная; его реальность, как бы ни была правдоподобна, – мнимая. Он принимает воображаемое за действительное. А пишет – *из себя*, сознательно или бессознательно придавая персонажам свои же собственные черты. (Не потому ли Флобер говорил: мадам Бовари – это я.) Беллетрист, по сути, познаёт самого себя – а это дело бесконечное. Он, как и жизнеописатель, пытается понять *человека*, Творение Божье, приблизиться к тому, что до конца понять невозможно.

«Суди люди – суди Бог...» – задорно поётся в народной песне.

Людской суд нам известен – суд Божий неведом.

ПРИЗВАНИЕ

– Я только поэт... – однажды, под конец жизни, признался Заболоцкий.

В записи Наталии Роскиной, близкой тогда ему женщины, а говорил он, по её воспоминанию, «в минуту душевного растворения», фраза немного длиннее. Но мы пока избираем именно эти начальные слова, потому что они важнее всего – и с точностью формулы выражают его существо, его душу, смысл и предназначение его жизни.

Он понял, что стал наконец поэтом в голодном и холодном Ленинграде 1920-х годов, когда начали появляться новые по качеству стихи, составившие позже его первую книгу «Столбцы».

Друг детства и юности Михаил Касьянов писал в своих воспоминаниях, как однажды в 1933 году в Питере пришёл к Николаю в гости после долгой разлуки. В дом Заболоцких на Большой Пушкарской привёл их общий товарищ и земляк Николай Сбоев.

«...жены с младенцем не оказалось. По-видимому, она с кричащим первенцем была отправлена на житьё к своей маме, чтобы младенец не мешал поэтическим занятиям папы. Мне это, по правде сказать, не понравилось. <...> К тому же Сбоев был крестным отцом Никиты, так что родителям его приходился кумом. Так как мы с Наташей и не думали крестить своих двух ребят, то это мероприятие меня тоже несколько удивило.

Николай Алексеевич встретил нас обоих гостеприимно. Была небольшая выпивка и закуска. Обо мне он сказал: “Ты, Миша, не похудел, а как-то ссохся”. Заболоцкий был тогда уже во славе. Вышла его книжка “Столбцы”, вызвавшая большие отклики – и положительные, и отрицательные».

Заболоцкий подарил ему в тот день машинописный экземпляр «Столбцов» и сделал такую надпись: «Дорогому М. И. Касьянову, старому другу туманной юности. Впредь до будущей книги. Н. Заболоцкий. 17.03.33».

Николай Алексеевич вложил в сборник несколько своих новых стихотворений, написанных от руки, – они предназначались для «Второй книги», которую он готовил к печати.

И вот самое главное:

«Посидели, поговорили. Вспоминали, как вместе голодали в Москве. Николай Сбоев прибавил, что и в Петрограде в 1921/1922 годах “мы с Николаем (так он звал Заболоцкого) голодали немало”. Николай Алексеевич вдруг оживился и начал

вспоминать, как он тогда голодал, лёжа от истощения в кровати, но и то же время вырабатывал собственный стиль, так что время петроградской голодовки было для него плодотворным».

Там, там из гусеницы рифмоплётства вылетела на Божий свет чудная бабочка его поэзии!..

Итогом поисков стали столбцы – совершенно нового уровня стихи.

Это были уже не ученические опыты – он отыскал собственный голос, на редкость самобытный и выразительный, который сразу же сделался различаем во всём пространстве русской поэзии.

Как вдруг возникли эти новые стихи?

Вопрос сложный, до конца не объяснимый, глубинно связанный с тайнами души и творчества. Многописание тут ни при чём. Вопреки расхожему постулату материалистов, в поэтическом деле количество не переходит в качество. Примером тому – многопудовая продукция графоманов. Новое качество – самопроизвольный рост таланта, вспышка молнии, космический взрыв, порождающий ещё одну звезду.

В случае раннего Заболоцкого, конечно, бросается в глаза то, насколько сильно повлияли на него не только уроки Хлебникова, но и творчество живописцев, таких как Брейгель, Босх, Анри Руссо, в особенности Павел Филонов – его современник, с которым поэт был лично знаком. Однако это лишь видимая составляющая той непостижимой внутренней работы, что проделал поэт в поисках самого себя.

В студенческом журнале «Мысль» было напечатано его стихотворение под необычным названием «Сизифово рождество» – угловатое, наивное, нарочито самоироничное. (Впоследствии Заболоцкий безжалостно сжигал свои ранние стихи, как «серьёзные», так и шуточные, – и сохранилось совсем немного: то, что удержала память его друзей или же что чудом уцелело в старых архивах.)

Просвистел старый Ибис с папируса
В переулки извилин моих,
И навстречу пичужке вынеслись
Золотые мои стихи.
А на месте, где будет лысина
К двадцати пяти годам,
Жолтенькое солнышко изумилось
Светлейшим моим стихам.
А они, улыбнувшись родителю,
Поскакали в чужие мозги.
И мои глаза увидели
Панораму седой тоски.
Не свисти, сизый Ибис с папируса,
В переулки извилин моих,
От меня уже не зависят
Золотые мои стихи.
<1921>

При всей незамысловатости строк в них живёт и сияет, словно цветик-самоецветик, по-детски чистая любовь к стихам. К стихам как таковым – не важно, своим ли, чужим (да разве бывает чужим то, что любимо: оно уже своё). Без этой любви, естественной как дыхание, поэтов не бывает, ими попросту не становятся.

Может быть, лучше всех это чувство выразил Антиох Кантемир: умирая, он напоследок обратился к своим стихам: «Примите последнюю мою к вам любовь,

прощайте!..» Или вспомним Пушкина, как он приподнялся со смертного ложа в своём кабинете, заставленном по стенам фолиантами, и сказал книгам: «Прощайте, друзья мои!..»

Конечно же, повлиял на рождение поэта Заболоцкого и сам город, в котором он тогда жил. Невероятный до умопомрачения!..

Петербург, Петроград, Ленинград... чего только не водилось в его промозглом, сыром, мглистом воздухе, замешанном на миазмах отсыревших каменных дворов-колодцев и всех человеческих страстей, – но и, одновременно, дивно мерцающим своими белыми ночами, великой историей и такой же великой литературой. Недавняя российская столица не только хранила в своём архитектурном размахе имперскую волю Петра и дышала ясной чистотой пушкинского духа, – тут, казалось, незримо жили изломы кривых зеркал (и зазеркальности) Гоголя, душевные бездны и мистические прозрения Достоевского и многое-многое другое.

О том, как серьёзно относился молодой Заболоцкий к поэзии, можно судить по мемуарному очерку Беллы Дижур, которая в начале 1920-х годов училась с ним в питерском Педагогическом институте.

Вспоминая те годы, она пишет:

«...неизменно вижу рядом с собой розовощёкого, светлоглазого мальчика из Уржума.

Это был ещё не тот Николай Заболоцкий – поэт трагической судьбы, автор блистательных стихов, переводчик “Рыцаря в тигровой шкуре” и даже не автор нашумевших “Столбцов”.

Но уже тогда – в ранней молодости – лежала на нём печать какой-то “особости”. Сдержанный, молчаливый, с холодными глазами, он выглядел очень значительным, при весьма обычной внешности.

«...» в среде сверстников он всегда был как бы старшим, держался особняком и подружиться с ним было нелегко».

Но всё-таки познакомились и подружились – когда юная поэтесса с химико-биологического факультета (а Заболоцкий учился на литературном и был редактором институтской стенной газеты) вдруг увидела напечатанным своё стихотворение, которое она «опустила в почтовый ящик» даже без подписи.

«Был он не старше меня. (На самом деле старше на три года. – В. М.) Но держался очень солидно, за всё время беседы ни разу не улыбнулся, расспрашивая об Екатеринбурге, откуда я приехала, о любимых поэтах, поморщился, когда я среди любимых назвала Бальмонта».

Уже следующим вечером они вместе гуляли по улицам... «Коля говорил о Бальмонте. Это плохой поэт. Надо читать Лермонтова, Гейне. Спросил, как у меня с немецким? Гейне хорошо читать в подлиннике. <...>

Потом мы пили морковный чай и ели кашу из турнепса, которую мои подружки по общежитию сварили во время моего отсутствия.

Такие чаепития и прогулки повторялись не однажды».

И наконец – самое поразительное:

«Иногда Коля отказывался от еды. Говорил очень серьёзным голосом: “Я ещё сегодня не писал стихов”.

На гостеприимную настойчивость моих соседок отшучивался: “Кто не работает – да не ест”. А иной раз говорил стихами: “Душа обязана трудиться и день и ночь”.

Много лет спустя я прочла эти строки в одном из сборников Заболоцкого.

Господи! Оказывается, я была свидетельницей рождения этих прекрасных строк!»

Стихотворение «Не позволяй душе лениться», откуда эти слова, относится к 1958 году, последнему году Николая Алексеевича Заболоцкого на земле.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони её от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвёт.

А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

...Казалось бы, поэзии в этом произведении маловато, зато назидательности с лихвой. Казалось бы, это просто зарифмованная волевая установка самому себе. Но так ли он нуждался в подобном самопонукании?

К тому времени Заболоцкий хорошо знал, что протянет недолго. И это был не просто дружеский совет собратьям по рифме. Конечно же, это было обращение ко всем, кто остаётся на земле. Признание напоследок – может быть, самое важное в его жизни.

Он прощался – и вспоминал себя, свою жизнь, свои испытания («тащи с этапа на этап» – это же и о многолетней неволе, о лагере!..).

Прикрывшись лёгкой, добродушной самоиронией, поэт со всей серьёзностью поведал о том, какой закон положил самому себе в юности.

И словно бы ненароком признался в том, что всю жизнь прожил по этому суровому – нравственному, а по сути религиозному – закону.

По свидетельству тех, кто знал Заболоцкого в петроградской молодости, он вёл жизнь самую аскетическую и «даже подвижническую». Например, в чтении отвергал беллетристику, предпочитая не тратить время попусту.

В поэтической программе *обэристов* («Объединения Реального Искусства»), написанной 1928 году, он, дав краткую выразительную характеристику своим товарищам – Константину Вагинову, Игорю Бахтереву, Даниилу Хармсу, Борису Левиному, сказал о самом себе следующее:

«Н. Заболоцкий – поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот – сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ошупывающую руку зрителя. Развёртывание действия и обстановка играют подсобную роль к этому главному заданию».

Точно так же, как в творчестве, он *сколачивал и уплотнял до отказа* свою собственную жизнь.

В феврале 1928 года двадцатипятилетний Заболоцкий, в быту то молчун, то насмешник, пишет письмо своей хорошей знакомой, студентке Кате Клыковой, – в скором будущем она станет его женой. Пишет с предельной откровенностью, так, будто предупреждает её, оберегая от того, чтобы не сделала неверного шага, – и в то же время прямо давая понять, на что обречена жена поэта:

«Моя жизнь навсегда связана с искусством – Вы это знаете. Вы знаете – каков путь писателя. Я отрёкся от житейского благополучия, от “общественного положения”, оторвался от своей семьи – для искусства. Вне его – я ничто».

Что здесь невольно вспоминаешь?..

«И пришла к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк, 8, 19-21).

Поэзия стала его верой и служением, его *словом Божиим*.

Писатель Вениамин Каверин был знаком с Николаем Заболоцким с молодости. В своих поздних воспоминаниях он, стараясь быть максимально точным, признаётся:

«Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, – может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нём эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Всё выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действия, свершения. Думая о нём, невольно вспоминается библейское: “Вначале было слово”.

Я не сразу понял по молодости лет ту главную черту, которая кажется мне для него необычайно характерной: что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него – всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он был поэтом.

Это вовсе не было ощущением учительства, стремлением поставить себя выше других. Это было чертой, которая морально, этически поверяла всё, о чём он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом».

Сам Николай Алексеевич никогда про то не говорил, своё писательство называл – в автобиографии и в очерке «Ранние годы» – обыденным словом «профессия». И лишь изредка прорывалось наружу энергия высокого напряжения, которой он жил в глубине души и которую целиком отдавал своему служению.

Не потому ли самым мучительным воспоминанием за восемь лет неволи, в которой он перенёс и пытки, и временное помешательство рассудка, и смертельные опасности, и голод, был для него один случай, произошедший, по-видимому, в лагере близ Комсомольска-на-Амуре. Это неизбежное видение преследовало его до кончины, спустя годы и годы по освобождению.

...Серый строй заключённых, в котором стоял и он, истощённый, не знающий, протянет ли ещё день-другой. Начальник конвоя в упругих ремнях, ретиво рапортующий самому начальнику лагеря. И вдруг небрежная реплика того, кто принимал смотр, для кого их жизни были не дороже, чем пыль под сапогами:

– Ну, как там Заболоцкий – стихи пишет?

– Никак нет. Говорит: больше никогда в жизни писать не будет.

– Ну то-то...

В записках жены Заболоцкого, Екатерины Васильевны, ни слова об этом, хотя наверняка Николай Алексеевич рассказывал ей про тот случай. Должно быть, она, оберегая память о муже, посчитала необходимым умолчать о произошедшем. А вот Наталия Роскина в своих литературных мемуарах «Четыре главы» не однажды обращается к этому:

«Он редко и мало рассказывал мне о годах своего заключения, но один эпизод рассказывал даже несколько раз, и с большим волнением. <...>

И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то зловещее».

И ещё:

«Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые человек перестаёт есть и спать; <...> и обо всём этом он говорил ровным тоном, не меняя выражение. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал – “не пишет, ну то-то” – в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь.

И это мне понятно, ибо ни к чему на свете не относился он с таким благоговением, как к стихам, и ничто на свете не могло сравниться для него со смыслом и назначением его поэтического призвания».

Не потому ли самодовольная реплика начальника лагеря не забывалась, продолжала вызывать в Заболоцком гнев и неизгладимую муку?

Сам он это никак не объяснял. Можно представить, каково ему было восемь лет терпеть ежедневную пытку немотой – писать стихи запрещалось. Да и как бы он мог это делать, когда все силы уходили на то, чтобы выжить. Сеем предположить, что страдал он не только потому, что в нём был предельно унижен поэт и оскорблён Божий дар, – Заболоцкого с каждым годом, проведённом в неволе, всё сильнее угнетал тот неисполненный поэтический долг, который ему – и только ему – надлежало осуществить в короткой человеческой жизни.

А теперь закончим ту фразу, которую в минуту душевного растворения, незадолго до своей кончины, он сказал Наталии Роскиной:

«Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несёт смерть».

ИСКАНИЯ

Мы знаем: заключение не сломило Заболоцкого – и «социализм» не убил в нём поэта.

Однако, если разобраться, не только социализму – никакому политическому режиму – поэты, в истинном их призвании, не нужны. Более того, любой власти поэты, по существу, враждебны. И уж кто-кто, а политики это ощущают каким-то звериным чутьём, всей своей *чёрной кровью*.

Но нет худа без добра.

Размышляя о поэтической судьбе Николая Заболоцкого, Н. Роскина, несмотря на своё сугубое неприятие советского строя, пишет вполне объективно:

«Установить меру удушения его таланта, вообразить, кем бы он мог стать в ином обществе – невозможно. Невозможно сравнить то, что было, с тем, чего не было. Разумеется, мы не читали бы “Горийской симфонии”, напечатанной во “Второй книге” в 1937 году, но, может быть, мы не читали бы “Иволги” и “Противостояния Марса”. Впрочем, я не берусь здесь судить о поэзии Заболоцкого, а хочу сказать только одно. Общество, призванное, казалось бы, оберегать своего поэта, всегда делает всё возможное, чтобы сократить и без того короткое расстояние между поэтом и его смертью. *Оно же создаёт питательную среду для его таланта, насыщая её трагизмом неслыханной силы* (Выделено мной. – В. М.).

Как писал ещё Кюхельбекер: “Торька судьба поэта всех племён, / Тяжеле всех судьба казнит Россию...”

Всех племён и всех веков...»

Что же, в чём-чём, а уж в этом «обществу» никак не откажешь. Будто мало ему того трагизма, которым пронизана вся человеческая жизнь.

Однако, по счастью, не одни лишь беды и печали одолевают душу – жизнь за-даривает её и радостью.

Семилетним мальчиком, в самую пору созревания личности и сознания, Заболоцкий очутился на родине своих дедов в Уржумском уезде, в селе Сернур, где отец получил новое место – до этого семья жила под Казанью на ферме. В детской памяти на всю жизнь запечатлелись сказочные дремучие леса, влекущие своей красотой и вечной тайной. Природа пробудила в подрастающем отроке жажду познания мира, и эта радость надолго осталась в нём как самое горячее чувство.

Вспоминая свои ранние годы, Николай Алексеевич писал в конце жизни:

«Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Епифаниевская ферма – поместье какого-то старозаветного богатея-священника – чёрный дряхлый дом из столетних брёвен, величественный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные уголья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьёв, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях».

...Промёрзшие кочки, бруснига,

Смолистые запахи пней.

Мне кажется: новая книга

Раскрыта искателю мне.

Ведь вечер ветвист и клетчат.

Ах, вечер, как сон в Октябре,

И сосны, как жёлтые свечи

На Божьем лесном алтаре...

⟨1921⟩

Этот набросок восемнадцатилетнего сочинителя, с неуклюжими ещё строками, похож на зелёную травинку, что пробилась меж камней избитой петроградской брусчатки, однако в стихах уже содержится предчувствие грядущего пути.

Драгоценным воспоминанием детства остался и отцовский книжный шкаф, наполненный книгами. Вятский агроном Алексей Агафонович Заболотский, первый человек умственного труда в длинном ряду своих предков-земледельцев, с 1900 года выписывал «Ниву» с приложениями к ней – собраниями русской классики.

которые сам же прилежно переплетал и выставлял на полки вместе с новинками, купленными по случаю.

«Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, срок пять лет спустя, дословно помню его немудрёное содержание. Наставление гласило: “Милый друг! Люби и уважай книги. Книги – плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги – всё равно что хлеб”», – вспоминал Николай Алексеевич в автобиографическом очерке «Ранние годы».

Глава семьи не часто заглядывал в свой шкаф: он скорее уважал литературу, чем любил. Однако сын воспринимал ту календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства.

«К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления, – признавался он. – Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам ещё не вполне понимая смысл этого большого для меня события».

Поэт отличается от обычного стихотворца прежде всего тем, что имеет собственный, неповторимый голос. Заболоцкий довольно долго искал себя, не обольщаясь отголосками чужого вдохновения, которые заметно слышались в его поначалу подражательных стихах. Магия знаменитых русских лириков начала XX века иставала постепенно, уступая собственному поэтическому мироощущению. Обширное, вдумчивое и критическое прочтение русских и зарубежных поэтов постепенно вырабатывало в нём способность ясно и трезво смотреть на свои стихи. По натуре он был человеком познания, исследователем глубин бытия – и всё больше понимал, что дерзость творческих исканий плодотворна лишь на твёрдой основе таланта, безупречного чувства языка и усвоения всей предыдущей поэзии. Естественно, прежде чем образоваться, его поэтическая личность прошла долгое учение и «обработку».

Помогла не только беззаветная любовь к чтению, но и природные способности к музыке, в особенности к рисованию. И ещё одно. «У Коли была феноменальная память, – отмечает Б. Дижур в рассказе об их юношеской дружбе в самом начале 1920-х годов. – Он не раз удивлял меня. Неожиданно прервав разговор, он, имитируя мои интонации, начинал читать какое-нибудь моё стихотворение, услышанное полгода назад. И при этом снисходительно замечал – это у тебя недурно получилось». Филолога Г. Гуковского, знатока русской литературы XVIII века, Заболоцкий поразил «феноменальной начитанностью и зрелостью – пусть необычных, пусть парадоксальных суждений», касаясь «русского классицизма». Впрочем, Гуковский справедливо считал, что неожиданные открытия Заболоцкого «выдают в нём не столько исследователя, сколько оригинального поэта».

Сам Николай Алексеевич в автобиографии 1948 года, вспоминая времена своего студенчества в Педагогическом институте им. Герцена, куда он поступил «по отделению языка и литературы общественно-экономического факультета», говорит, что становиться педагогом вовсе не собирался, а хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы. Признётся: много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину, но «собственного голоса не находил». Можно вообразить, что испытывал при этом пылкий молодой автор, интуиция и ум которого заметно опережали в то время развитие его поэтического дарования. В автобиографии про это сказано коротко: «Считался способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке».

Но привязанность к поэзии оказалась сильнее, и мечты о научной работе были оставлены».

Эти его думы о «науке»... Наверное, в первый и последний раз во всю жизнь Заболоцкий дрогнул, заколебался в своём призвании, засомневался в том, верно ли выбран путь. И сомнения объяснимы.

В начале двадцатых годов сильный аналитический ум Николая значительно превосходил качество стихов, которые тогда им сочинялись. Свидетельство тому статья «О сущности символизма», помещённая в студенческом журнале «Мысль» Педагогического института им. Герцена. Единственный номер журнала вышел в марте 1922 года, и представлял он собой тетрадь в два десятка листов, сшитых нитками. В небольшом по объёму тексте девятнадцатилетний автор даёт характеристику символизма «в сфере его внутренней философии», высказывая заодно свои мысли о поэзии.

«Поэт, прежде всего, – созерцатель, – пишет он. – Созерцание, как некое активное общение субъекта с окружающим его миром, всегда ставит ряд вопросов о сущности всякого явления. Вещи спрашивают о своём существовании, и поэт спрашивает о существовании вещей. Вопросы теории познания делаются логически неумолимыми. (...) Вступая в сознание, вещь не приемлется в своём бытии, но содержание её, присутствующее в познающем субъекте, подвергается воздействию субъективности его познания. (...) В поэзии реалист является простым наблюдателем, символист – всегда мыслителем».

В этой теоретической работе, несомненно, сказался и личный опыт. Хотя сам Заболоцкий никогда не относил себя к символистам, это поэтическое движение, конечно же, оказало на него немалое влияние:

«Душа символиста – всегда в стремлении к таинственному миру объектов, в отрицании ценности непосредственно-воспринимаемого, в ненависти к “фотографированию быта”. Она видит жизнь всегда через призму искусства. Такое искусство, конечно, не может не быть несколько аристократичным по своему существу, замкнутым в области творения своего мира. Своеобразная интуиция символиста целиком направлена на отыскивание вечного во всём не вечном, случайном и преходящем».

Молодой Николай Заболоцкий уверенно осмысливает теоретические убеждения и методы символистов, начиная с Эдгара По, Верлена, Бодлера, и заканчивая Бальмонтом, Брюсовым и Андреем Белым. В заключение он убедительно опровергает взгляды поэта Эллиса, автора книги «Русские символисты». Эллис понимал символизм не просто как художественное направление, а как средство, и разделял «идейный символизм» на несколько разрядов: моралистический (Ибсен), метафизический (Р. Гиль), индивидуалистический (Ф. Ницше), коллективный, соборный и так далее.

«Символизм есть всегда самоцель, поскольку стремление приобщиться Эльдорато является самоцелью этого же рода, – заключает Заболоцкий. – Певец Бранда и “безумный язычник” Ницше говорит нам слишком много своего, цельного и безусловно оригинального, так что элементы символизма, если они и присущи их поэзии, то настолько отходят на второй план, что делаются едва заметными.

Но не в этом ли и заключается своеобразная литературная преемственность, что каждое последующее литературное движение обрабатывает предшествующее, вводя на первый план оригинальные положения и литературные формы».

В этом выводе молодого поэта вполне определённо сказано о смысле и направлении его исканий, о том, каким путём он шёл, определяя свой собственный, отличный от других, поэтический *голос*.

А сама статья – пример того, как серьёзно штудировал Заболоцкий уроки «отцов». Его зрелая поэзия говорит, что не менее вдумчиво он учился и у «дедов» и «прадедов» – поэтов XIX и XVIII веков, как внимательно и любовно читал «Слово о полку Игореве», русские летописи.

К НОВОМУ КОСМОСУ

Михаил Касьянов, одноклассник Заболоцкого по Уржумскому реальному училищу, вспоминал, как впервые увидел своего будущего закадычного товарища. Лобастый паренёк-четвероклассник, как ему показалось, немного смущался, но взгляд имел твёрдый. Про стихи, которые сочинял с детства, Коля считал, что это уж на всю жизнь. Другу как-то сказал: «Знаешь, Миша, у меня тётка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: “Если кто почал стихи писать (так и сказал – почал), то до смерти не бросит”».

В *столбцах*, где Заболоцкий «придвигает» вплотную к глазам зрителя «голые конкретные фигуры», сколачивает и уплотняет до отказа «предмет», он о поэзии и стихах и говорит не напрямую, а *предметно и фигурно*: они как бы растворяются в словесной ткани, воплощаясь в том или ином образе.

Вот стихотворение «Дума» (1926). Здесь то, что классики называли музой, вдохновением, поэзией, творчеством, выступает у Заболоцкого в образе «ночь». Он даже прибегает к просторечию, как в русских говорах (на взгляд педантов от грамматики – неправильных, но на самом деле своеобразных и верных истинному чувству языка):

Приди, мой ночь!
Ведь ты была,
и Пушкину висела сверху,
и Хлебникову в два ряда
салютовала из вагона.

.....

Приди, мой ночь!
На этом мире
я чудным вымыслом брожу,
гляжу в стекольчатые двери,
музыкой радуюсь, дыша,
сжимаю белые колени
в пылу полуночного бденья,
приди, мой ночь!
Мне стало больно,
Что я едва-едва велик.

.....

И вот, моленью тихо внемя,
духовная приходит ночь.

К тому же 1926 году относится известное стихотворение «Лицо коня». Вроде бы оно о животных, которые «не спят» и «во тьме ночной (заметим, снова *ночь*, или же иначе – время вдохновения. – В. М.) «стоят над миром каменной стеной». Однако в образе «коня», похоже, не только животное, но и мифический Пегас, да и поэт, сочинитель, творец стихов:

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
и в ветхой роще рокот соловьиный.

И, зная всё, кому расскажет он
свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На тёмный небосклон
восходят звёзд соединенья.

И конь стоит как рыцарь на часах,
играет ветер в лёгких волосах,
глаза горят как два огромных мира,
и грива стелется как царская порфира.

И если б человек увидел
лицо волшебное коня,
он вырвал бы язык бессильный свой
и отдал бы коню. Поистине достоин
иметь язык волшебный конь.

Мы услышали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
как мёд или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
и, в душу залетев, как в хижину огонь,
убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
и о которых песни мы поём...

Именно *коню* – наверное, тому же самому, волшебному – Николай Заболоцкий «поручает» во *второй* «Ночной беседе» (1929) поведать про своё, дорогое сердцу видение – могилу Хлебникова и высказаться о самом поэте:

– Но не всюду ходит разум
победителем познания, –
сказал конь, и стали разом
наплывать воспоминанья. –
Вижу я погост унылый
с новгородскими крестами,
там на дне сырой могилы
кто-то спит, шепча устами.
Кто он, жалкий, весь в коростах,
полусъеденный, забытый,
житель бедного погоста,
грязным венчиком покрытый?
Почему вода целует
его ветхие ладони?
Птица нежная тоскует
перед ним, как на иконе?
Вкруг него толпятся ночи,
руки бледные закинув,

вкруг него цветы бормочут
в погребальных паутинах.
Вкруг него, невидны людям,
но нетленны, как дубы,
возвышаются умные свидетели его жизни –
Доски Судьбы.
И все читают стройными глазами
домыслы странного трупы,
и мир животных с небесами
тут примирён прекрасно-глупо.
И сотни-сотни лет пройдут,
и внуки наши будут хилы,
но и они покой найдут
на берегах такой могилы.
Так человек, отпав от века,
зарытый в новгородский ил,
прекрасный образ человека
среди природы заронил!

«Вкруг него толпятся *ночи...*» – *вдохновение* толпится.

Ночь, что «Пушкину висела сверху», многожды толпилась и над тем, которого склонные к насмешке и глуму балагуры-современники небрежно нарекли «Председателем Земного шара». А он – заронил среди природы прекрасный образ человека.

Имена двух самых дорогих учителей названы.

Пушкин и Хлебников.

Космос и хаос – новый хаос, который, несомненно, должен преобразоваться в новый космос.

Недаром в манифесте «Поэзия обэриутов» (1928) Заболоцкий писал: «Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, – честные работники своего искусства. Мы – поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы – творцы не только нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения жизни и её предметов...» Недаром и *воспоминания коня* о Хлебникове чуть позже «Ночной беседы» целиком перейдут в поэму «Торжество земледелия».

СИЯЮЩАЯ ДУДКА

В новом поэтическом языке, создаваемом Николаем Заболоцким в его *столбцах*, гармония классицизма была отринута. И музыка прежней поэзии исчезла:

Но я – однообразный человек –
взял в рот длинную сияющую дудку,
дул, и, подчинённые дыханию,
слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова мне кашу варила,
дерево сказку читало,
а мёртвые домики мира
прыгали словно живые.

(«Искусство», 1930)

Эта длинная сияющая дудка, если и выдыхала гармонию, то какую-то совершенно иную, нежели гармония классической русской поэзии.

В *столбцах* мысль и живопись заслонили собственно музыку, изрядно потеснив её на второй план в той широкой, резкой и яркой картине бытия, которую создавал поэт.

Но прошло время – и музыка в поэзии Заболоцкого взяла своё, будто бы заново омытая чистой, животворной влагой вечной гармонии.

В 1940–1950-е годы взгляды Николая Алексеевича Заболоцкого на поэзию сформировались полностью. И он перед концом жизни выразил их с удивительной простотой и образностью, силой и ясностью в двух небольших по объёму заметках. Эти заметки невозможно не привести, – так много они говорят о самом поэте.

Первая, по-видимому, предназначалась к печати, однако появилась уже по его смерти:

«Сердце поэзии – в её содержательности. Содержательность стихов зависит от того, что автор имеет за душой, от его поэтического мироощущения и мировоззрения. Будучи художником, поэт обязан снимать с вещей и явлений их привычные обыденные маски, показывать девственность мира, его значение, полное тайн. Привычные сочетания слов, механические формулы поэзии, риторика и менторство оказывают плохую услугу поэзии. Тот, кто видит вещи и явления в их живом образе, найдёт живые и необыденные сочетания слов.

Все слова хороши, и почти все они годятся для поэта. Каждое отдельно взятое слово не является словом художественным. Слово получает свой художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами. Каковы же эти сочетания?

Это прежде всего – сочетания смыслов. Смыслы слов образуют браки и свадьбы. Сливаясь вместе, смыслы слов преобразуют друг друга и рожают видоизменения смысла. Атомы новых смыслов складываются в гигантские молекулы, которые, в свою очередь, лепят художественный образ. Сочетаниями образов управляет поэтическая мысль.

Подобно тому как в микроскопическом тельце хромосомы предначертан характер будущего организма, – первичные сочетания смыслов определяют собой общий вид и смысл художественного произведения. Каким же путём идёт поэт – от частного к общему или от общего к частному? Думаю, что ни один из этих путей не годится, ибо голая рассудочность неспособна на поэтические подвиги. Ни аналитический, ни синтетический пути в отдельности для поэта непригодны. Поэт работает всем своим существом, бессознательно сочетая в себе оба этих метода.

Но смысл слова – ещё не всё слово. Слово имеет звучание. Звучание есть второе неотъемлемое свойство слова. Звучание каждого отдельно взятого слова не имеет художественного значения. Художественное звучание возникает также лишь в сочетаниях слов. Сочетания трудно произносимые, где слова трутся друг от друга, мешают друг другу, толкаются и наступают на ноги, – мало пригодны для поэзии. Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с другом, словно влюблённые в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, назначать друг другу свидания и дуэли. Не знаю, можно ли научиться такому сочетанию слов. Обычно у поэта они получаются сами собою, и часто поэт начинает замечать их лишь после того, как стихотворение написано.

Поэт работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем, душой, мускулами. Он работает всем организмом, и чем согласованней будет эта работа, тем выше будет её качество. Чтобы торжествовала мысль, он воплощает

её в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль – Образ – Музыка – вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт.

1957».

Вторая заметка была написана для выступления в Италии, куда Заболоцкий отправился с делегацией советских писателей и где намечался диспут с итальянскими писателями об оптимизме и пессимизме. Это рукопись в два листа на машинке. Готовя окончательный текст, поэт вычеркнул название «Почему я не сторонник абстрактной поэзии».

Его выступление прозвучало на одном из диспутов с итальянскими поэтами в октябре 1957 года:

««...» Я – человек, часть мира, его произведение. Я – мысль природы и её разум. Я – часть человеческого общества, его единица. С моей помощью и природа и человечество преобразуют самих себя, совершенствуются, улучшаются. Но так же, как разум ещё не постиг всех тайн микрокосма, он и в области макрокосма ещё только талантливое дитя, делающее свои первые удивительные открытия.

Я, поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Растения во всём их многообразии – эта трава, эти цветы, эти деревья – могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своей, и воздухом, – все они живут рядом со мной. Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость растительного пейзажа, сочетания листвы и ветвей, игра солнца на плодах земли – это улыбка на лице моего друга, связанного со мной узами кровного родства.

Косноязычный мир животных, человеческие глаза лошадей и собак, младенческие разговоры птиц, героический рёв зверя напоминают мне мой вчерашний день. Разве я могу забыть о нём?

Множество человеческих лиц, каждое из которых – живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн, – что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?

Невидимые глазу величественные здания мысли, которые, подобно деятельным призракам, высются над жизнью человеческого мира, укрепляют во мне веру в человека. Усилия лучшей части человечества, которое борется с болезнями рода людского, борется с безумием братоубийственных войн, с порабощением одного человека другим человеком, мужественно проникает в тайники природы и преобразует её – всё это знаменует новый, лучший этап мировой жизни со времён её возникновения. Многосложный и многообразный мир со всеми его победами и поражениями, с его радостями и печалью, трагедиями и фарсами окружает меня, и сам я – одна из деятельных его частиц. Моя деятельность – моё художественное слово.

Путешествуя в мире очаровательных тайн, истинный художник снимает с вещей и явлений плёнку повседневности и говорит своему читателю:

– То, что ты привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и привычным взором, – на самом деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле – таинственно. Вот я снимаю плёнку с твоих глаз: смотри на мир, работай в нём и радуйся, что ты – человек!»

Далее шло заключение, где было: «Холод одиночества и абстракции пугает меня. Мне по-человечески жаль художника, отделившего себя от мира искусственной стеною. Холодное солнце абстракции не греет его душу, и горькая радость уедине-

ния питает его творчество безжизненными соками. Мы – дети мира. Мы – в мире, и мир – в нас. И в этом заключается высокое удовлетворение поэта».

Вместо этого вычеркнутого абзаца Заболоцкий вписал ручкой: «Вот почему я не пессимист».

Глава вторая **СЕРНУРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ**

МУЖИКИ НА БРЁВНАХ

Неисповедимы пути, по которым в мир является поэт.

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа», – сказано в Евангелии от Иоанна (Ин, 3, 8).

В русском переводе – «дух», но в подлиннике – «ветер»: Иисус сравнивает Дух Божий с ветром. Русское слово «Дух» разом выражает эти два значения: и ветер – дыхание, дуновение, и Дух Божий, возрождающий человека для новой жизни.

Поэзия – тоже ветер, дыхание, Дух, ибо она от искры Божией.

Весной 1903 года ветер поэзии прошумел над одной из ферм под Казанью – родился поэт Николай Заболоцкий...

Лобастый младенец в матроске испытующе и серьёзно смотрит на нас с одной из первых его фотографий 1904 года. Ребёнок стоит, ещё неуверенно, на резном крыльце дома. Молодая мать, в белой блузке и длинной чёрной юбке, заботливо поддерживает своего годовалого первенца. Рядом отец, уже в годах, солидный, статный, с пышными усами и густой бородой. Он в тёмном сюртуке, на голове картуз. Родитель тоже прислонил руку к сыну – опора!..

А на другом раннем снимке Коле уже три-четыре года, и запечатлён он в студии художественной фотографии Казани. Ладный малыш чуть наклонил голову вперёд, словно бы упёрся в пространство и ненароком бодает его. Кожаная кепочка сдвинута на затылок, открывая высокий выпуклый лоб; на ногах кожаные сапожки. Степенный себе паренёк!.. Куда он всматривается так вдумчиво, так наивно и внимательно, широко открыв светлые глаза? Не в самого ли себя этот сосредоточенный взор? Мальчик явно думает свою детскую думу – и созерцает нечто.

В младенчестве я слышал много раз
Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной... <...>
О, тихий час, начало летней ночи!
Деревня в сумраке... И возле тёмных хат
Седые пахари, полузакрывши очи,
На брёвнах еле слышно говорят.
И вижу я сквозь темноту ночную,
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,
То спутанную бороду седую,
То жилы выпуклые истомлённых рук,
И слышу я знакомое сказанье,
Как Правда Кривду вызвала на бой.
Как одолела Кривда в состязаньи
И Правды нет с тех пор в стране родной.

Лишь далеко на Океане-море...
На белом камне, посредине вод,
Сияет книга в золотом уборе,
Лучами упираясь в небосвод.
Та книга выпала из некой грозной тучи,
Все буквы в ней цветами проросли,
И в ней записана рукой судеб могучей
Вся правда сокровенная земли. <...>
Как сказка – мир. Сказания народа,
Их мудрость тёмная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа,
С младенчества запали в душу мне.

(«Великая книга», первая редакция, 1937)

Ещё раньше, в *столбцах* было у него стихотворение «Отдыхающие крестьяне» (1933), в котором та же самая картина: «толпа высоких мужиков», по обычаю сельского отдыха восседающая важно на брёвнах.

Царя ли свергнут или разом
скотину волк на поле съест,
они сидят, гуторя басом,
про то да сё узнав окрест.

Как всегда у него в *столбцах*, тут, вместе с прямым взглядом на «предметы» – наив и необыкновенная серьёзность, лубок и гротеск.

Вечерние посиделки приманивают многих. Порой кто-то приносит «длинную гармошку», балалайку – и народ устраивает пляски: «многоногий пляшет ком, / воет, стонет, веселится».

Но старцы сумрачной толпой
сидят на брёвнах меж домами,
и лунный свет, виясь столбами,
висит над ними как живой.
Тогда, привязанные к хатам,
они глядят на этот мир,
обсуждают, что такое атом,
каков над воздухом эфир.
И скажет кто-нибудь, печалась,
что мы, пожалуй, не цари,
что наверху плывут, качаясь,
миров иные кубари.
Гром мечут, искры составляют,
живых растеньями питают,
а мы, приклеены к земле,
сидим, как птенчики в дупле.

Как птенчики в дупле, верно, были и крестьянские мальцы, под покровом сумерек с жадным любопытством прислушивающиеся к тому, что гуторят раздумчивые старики. Как и отцов с дедами, их волновали тайны окружающего мира и томила жажда познания. Это-то – в «простых» крестьянах и в самом себе – и поразило душу будущего поэта.

Тогда крестьяне, созерцая
природы стройные холмы,
сидят, задумчиво мерцая
глазами страшной старины.
Иной жуков наловит в шапку,
глядит, внимателен и тих,
какие есть у тварей лапки,
какие крылышки у них.
Иной первоначальный астроном
слагает из берёзы телескоп,
и ворон с каменным крылом
стоит на крыше, словно поп.

Не тогда ли, в самом раннем детстве, Заболоцкий ощутил в себе, как в борода-
тых сельских старцах – самодеятельных натурфилософах, непреодолимую тягу к
знаниям и потребность открыть тайны земли и неба?

А на вершинах Зодиака,
где слышен музыки орган,
двенадцать люстр плывут из мрака,
составив круглый караван.
И мы под ними, как малютки,
сидим, считая день за днём,
и, в кучу складывая сутки,
весь месяц в люстру отдаём.

(«Отдыхающие крестьяне», первая редакция, 1933)

РОДСТВО

Удивительно, но из воспоминаний детства больше никто, кроме этих безымян-
ных мужиков на брёвнах, не вошёл в стихи Заболоцкого. Ни отец, ни мать, ни деды,
ни братья с сёстрами... А ведь, казалось бы, ни один поэт не может в творчестве
пройти мимо своей родословной – хотя бы потому, что это вернейший путь по-
нимания самого себя.

Заболоцкий – смог.

Как художник, он, конечно же, бежал любого «фотографирования» действи-
тельности, изображения конкретных людей. Но, возможно, дело в ином. Как бы то
ни было, поэт посчитал ненужным объяснять это. Впрочем, что же и объяснять?
Стихам не прикажешь...

...В сентябре 1954 года у Николая Алексеевича случился тяжелый инфаркт. Он
мог погибнуть – спасла «скорая помощь». Два месяца Заболоцкий пролежал дома.
По свидетельству его сына, Никиты Николаевича, ставшего потом его биографом,
Заболоцкий провёл это время в неподвижности, мало-помалу приучаясь к движе-
ниям. Никаких дел и посещений. У постели больного была лишь жена, Екатерина
Васильевна, да время от времени навещали врач и медсестра.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Эти строки из чудесного стихотворения «Бегство в Египет», написанного в 1955 году, к которому мы ещё вернёмся...

Вероятно, в бесконечные дни бессилия и вынужденного безделья, приходили к нему, в ряду других, порой фантастических видений, и картины его детства, о котором прежде не было времени вспоминать.

Предположение вполне допустимо: по выздоровлении, в том же 1955 году, Заболоцкий написал очерк «Ранние годы» – замечательную по ясности духа и чистоте слога автобиографическую прозу.

«Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем, где, по преданию, было укрепление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходится сродни этим своеобразным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом – сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятаки и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он двадцать пять лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнёсся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повёл её пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска: Севастополь пал, не дождавшись своего нового защитника».

Севастопольская одиссея деда Агафона сама по себе послужила бы иному писателю сюжетом, – Заболоцкий же вспомнил о ней лишь на излёте жизни, в нескольких словах, да и то с еле скрытой добродушной усмешкой. Однако простодушный патриотический порыв деда, несомненно, оценил вполне: сам был такой же закваски. Недаром чуть дальше, в том же очерке ему пришлось на память, как в 1912 году, в столетие Бородинской битвы, вместе с другими уличными мальчишками он «брел» Кутузовым, Багратионом и другими героями «двенадцатого года». Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, они с пиками наперевес носились по сельским садам, сражаясь с зарослями крапивы – бонапартовым войском. В этих побоищах девятилетний Коля неизменно был казачьим атаманом Платовым. По его словам, он никогда не соглашался на более почётные роли, ибо Платов представлялся ему образцом российского героизма, удали и молодечества.

Правда, поэтическое воображение всё же вмешалось в рассказ Николая Алексеевича о деде. Агафон Яковлевич Заболотский ко времени Крымской войны никак не мог быть «двадцать пять лет» на военной службе: в 1855 году ему как раз и было отроду двадцать пять лет. Разумеется, и дружину добровольцев он возглавить не мог по своему низкому, унтер-офицерскому званию. Никита Заболоцкий в жизнеописании отца-поэта сообщает, что дед отбывал военную службу неподалёку от родных мест, а во время Крымской кампании и вовсе оказался в Уржуме. «В 1855 году, когда по высочайшему повелению было собрано Вятское ополчение во главе с генералом П. П. Ланским, в его уржумскую дружину вошёл и Агафон Заболотский, – пишет биограф. – Он принимал участие в обучении ратников и в составе дружины отправился на выручку осаждённого Севастополя. Однако путь был слишком длинен, и, когда Севастополь пал, ополчение вернули домой откуда-то из-под Владимира». Лесничим же дед стал лишь по выходе в отставку, когда записался в уржумские мещане. В семье сохранилось ещё одно, кроме сгибания

медных пятак, предание о его огромной физической силе: однажды во время переправы через реку Вятку дед Агафон «чуть ли не хвост вытащил из полыньи провалившуюся под лёд лошадь».

...В конце 1950-х годов двоюродный брат поэта Леонид Владимирович Дьяконов (вятский писатель, известный своими произведениями для детей) отыскал на старом кладбище в Уржуме могилу деда Агафона. На каменном памятнике с металлическим крестом сохранилась надпись: «Здесь погребено тело отставного унтер-офицера Уржумской местной команды Агафона Яковлевича Заболотского. Скончался 1 февраля 1887 г. жития его было 57 лет. Спи, дорогой отец, до радостного свидания».

Другого деда поэта, по материнской линии, звали Андрей Иванович Дьяконов. Он был учителем в уездном городе Нолинске Вятской губернии, а потом мелким служащим на почте. Николай Алексеевич его и не видал: мать, Лидия Андреевна, рано осиротела.

Но продолжим рассказ поэта о детстве.

«Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабу, тихую, безропотную старушку, которую дед держал в страхе Божиим. На фотографии рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь её с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер ещё в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казённую стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда (...). По своему воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убеждённый практик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевёл с трёхполья на многополье и уже в советское время, шестидесятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чём и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нём с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой чёрной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддёвке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, и времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетнем возрасте, и взял себе в жёны школьную учительницу из уездного города Нолинска, мою будущую мать, – девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребёнком и родился в 1903 г. 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом (...).

В свидетельстве, выданном Варваринской церковью города Казани, говорится: «Вятской губернии города Уржума мещанин Алексей Агафонов Заболотский и его законная жена Лидия Андреева, оба православного вероисповедания, сын их Николай рождён апреля двадцать четвёртого, крещён двадцать пятого...»

...Однако что же побудило Заболоцкого так резко отозваться о родительском браке? Только ли семейные раздоры, которые, конечно же, чрезвычайно тяжелы и болезненны для ребёнка? Это остаётся вопросом, скорее всего неразрешимым. В конце концов благодаря «этим людям» – отцу и матери – он и появился на свет.

Не берёмся судить, в чём причина этого прохладного, отстранённого отношения. Вряд ли тут прегрешение против пятой заповеди: отца, Алексея Агафоновича, Заболоцкий любил и чтил, как, наверное, и мать, Лидию Андреевну (хотя почему-то почти ничего не поведал о ней в своём автобиографическом очерке). Возможно, сказалось извечное, унаследованное от отца, стремление Николая Алексеевича к разумному устройству жизни, в том числе и личной.

Хотя он прекрасно знал, что его семье жилось очень не просто. Вслед за ним родились сёстры Вера и Мария, брат Алексей. Денег не хватало, а семейных забот и хлопот было выше головы. «Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности – страховым агентом и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 г. мы переехали в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур».

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Волостное село Сернур было небольшим, с церковью и волостным правлением, с бедной школой и захудалой больницей. С примыкающими к нему деревням Нурбель и Низовкой село составляло одну большую улицу. Её пересекали две короткие улочки. Кругом сады, рядом, под пригорком, речка.

«Недалеко от школы, – писал Заболоцкий, – поселились и мы в длинном бревенчатом доме, разделённом перегородками на отдельные комнатки-клетушки».

Л. Дьяконов в очерке «Детские и юношеские годы поэта» приводит воспоминания сестры поэта, Веры Алексеевны, о доме в Сернуре:

«У нас был отдельный дворик, заросший зелёной травкой, с заложенными в нём отцом цветниками. Мальвы, гвоздики, левкои, настурции, резеда и петунии и нежно-голубые лабелии запомнились, видимо, Коле на всю жизнь.

За домом был большой запущенный сад, спускающийся к мелкой речушке и ещё подальше – к ключу, откуда весь окресток носил воду.

Весной, когда всё зеленело и распускались берёзки, в лесу (в нескольких верстах от села) марийцы из соседних деревень устраивали моление».

Насчёт цветов у родительского дома в воспоминаниях Заболоцкого ни слова. Его поразило другое. Прелестный и радостный растительный мир округи – а рядом такая убогая человеческая жизнь, жалкая, скудная... «Особенно бедствовали марийцы – исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со свету. Купеческое сословие, дома священников – они стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог, да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знали между собою, у нас были общие интересы, игры».

В селе Сернур Коля пошёл в школу. Учился старательно. Замечал: крестьянские мальчишки худо-бедно, но одеты, обуты, а рядом за партами марийские детишки, изнурённые нуждой. Запоминались больше строгости учителей. Священник о. Сергей за погрешности бивал линейкой по рукам и ставил на горох в угол. А самое сильное впечатление о жизни в Сернуре таково: «Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, марийский мальчик

Ваня Мамаев, в худой своей одежке, с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замёрз до полусмерти и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой чёрной завистью».

Смысл этой детской зависти скорее всего можно разгадать так: сверстник Ваня Мамаев по усердию своему ненароком отличился – и прикоснулся к чему-то заветному. В мальчишке Коле, уже начитавшемся книг, проснулось желание действовать. В душе, ещё вполне не осознающей себя, проклюнулись стихи. И то, что извечно сопровождает начинающих сочинителей, – томительное предчувствие влекущей, как бездна, ненасытимой жажды. Пушкин называл её прямо и просто – желание славы. Слово уже очаровало юную душу.

В отцовском книжном шкафу было много книг: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой, Державин, Шекспир, история Карамзина, Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Фет, Лесков, Гюго.

...Минувшим летом мне довелось побывать в Сернуре. И век спустя стоит в селе деревянное двухэтажное здание начальной школы, где учился Коля Заболотский. Теперь в этом доме этнографический музей. В комнате-классе Н. Заболотского хранится старинное собрание сочинений Достоевского из личной библиотеки отца-агронома, портативная переносная печатная машинка поэта, подаренная ему Евгением Шварцем, сигаретница, – это передали в дар музею дети Николая Алексеевича. А бревенчатый дом, где он жил, не сохранился. Зато уцелел узкий навесной мостик через глухой овраг с ручьём на дне, по которому сбегал со своего пригорка мальчик Коля, торопясь в школу. Так же, как и век назад, щёлкают и заливаются в густых зарослях невидимые соловьи, так же цветёт сирень...

Однажды отец взял его в поездку по окрестным деревням. И Коля своими глазами увидел, как в берёзовой роще, перед белоствольными деревьями марийский шаман заклинал своих языческих божков. Эти берёзы считались священными. Глухая дробь бубна... несвязные выклики... ощутимый трепет душ тех, кто собрался вокруг... Мальчик всем существом почуял тёмную, властную силу слова.

...Позже, в Петрограде, молодой поэт сполна хлебнул полугениальный, полубезумный речитатив Велимира Хлебникова, ознакомился и с тупой, односложной бессмыслицей пальцем деланного «заумника» Алексея Кручёных. Как-то, разбирая абсурдистские опыты своих товарищей, Николай вспомнил то камлание шамана-марийца и с усмешкой заметил своему другу Шурке Введенскому: «Куда тебе и другим!.. Вот это была настоящая заумь!»

ЭНЕРГИИ И СМЫСЛЫ, ЗАКЛЮЧЁННЫЕ В ИМЕНИ

Итак, с бумажной иконки сияющего от счастья Вани Мамаева на уязвлённого завистью Колю взглянул Николай Чудотворец. Кто знает, что увидел он в строгих, выискующих глазах святого? Может, вопрос: а ты? что ж не проявил такого же, как приятель, усердия? А ещё моим именем зовёшься...

Нет сведений о том, кто дал Заболотскому имя. Возможно, родители, а скорее, как и полагалось по заведённому православному обычаю, поп в церкви, который окрестил младенца.

Священник выбирал имя по святым, сверяясь с церковным календарём, кого из святителей и мучеников вспоминали православные в эти дни. Среди этих прославленных отцов Церкви есть сразу несколько Николаев, и все они, разумеется, наречены в честь того, кого в народе душевно звали Николой Угодником.

Имя есть жизнь – говорил русский философ Алексей Лосев.

Не простой звук, а заключённый в слове смысл, предопределяющий характер и судьбу человека.

Слово – действительно: в нём содержатся не разгаданные ещё до конца энергии.

Нынешние учёные проделывали опыт: читали домашнему цветку молитвы – и растение распускалось, расцветало, крепло; а вот от ругани и проклятий – хирело и даже погибало. Но в старину люди знали это без всякой науки, потому что жили по вере. Несмотря на все достижения науки, истинное знание ещё не доступно человеку. Оно вроде айсберга: материальное, факты на поверхности, а мистическое ведение где-то в глубине. *Слова* это касается прежде всего: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин., 1,1).

Высочайшие умы посвятили свои работы разгадке философии имени. Один из них – о. Павел Флоренский, автор исследования «Имена».

Отец Павел намеревался составить толкование самых распространённых человеческих имён, однако своё исследование не успел завершить. По счастью, среди тех имён, которые им изучены основательно, есть имя Николай.

Рассуждения Флоренского об этом имени невольно сравниваешь с тем, что нам известно о жизни и судьбе Николая Алексеевича Заболоцкого. И кажется, что многое, хотя, конечно, не всё удивительно совпадает с действительностью. Так ли оно на самом деле? Как бы то ни было, перед нами предстаёт, если и не полный, то эскизный психологический портрет того, кто когда-то, мальчиком, в захолустном селе Сернур сгорал от «чёрной» зависти, глядя на «лаковую картинку» с изображением Николая Чудотворца.

Вот выдержки из статьи Флоренского, которые, по нашему мнению, довольно точно соответствуют Заболоцкому. Они приближают нас к пониманию его личности, характера и образа жизни. Сопроводим некоторые из этих цитат небольшими, на живую нитку, комментариями.

♦ *«Духовное пространство Николая ограничивается не потому, что именно так выражает себя вовне структура его личности, а потому что такова структура внешней среды, принимающей на себя его деятельность».*

Воображение Заболоцкого вряд ли знало пределы, коль скоро его равно влекли и глубины древности, и тайны языка, и бесконечное будущее человечества, что рисовал в своих мечтах и планах Циолковский.

Но... «структура внешней среды»! Понятно, какой была эта структура во времена Сталина. Вождь предвидел скорую схватку с Западом, он хорошо помнил, как в гражданскую войну Антанта с Японией, от Мурманска до Дальнего Востока, пытались на куски разодрать бывшую Российскую империю. Он отказался от ленинской блажи мировой коммуны и принялся железной рукой строить новую империю – социализм «в отдельно взятой стране». Только мощная империя могла бы выстоять в будущем столкновении и избежать гибели.

Страна виделась ему армией. А в армии – все бойцы, писатели не исключение. Вождь зорко и твёрдо *нас* это своевольное стадо, которое только и норовило разбредиться по разным сторонам. Неспроста же к середине 1930-х годов разогнал множество литературных групп и объединений, грызущихся между собой. Вместо них был образован Союз советских писателей, эдакое министерство литературы. Даром что форму не пошили, как инженерам и железнодорожникам. А то бы ходили – кто с вечным пером, а кто с лирами на погонах.

♦ *«Для Николая наиболее характерно действие, направленное вовне. Оно может показаться на первый взгляд похожим на женскую беспредельность, бесконеч-*

ность и хаос, стремящийся разливаться, пока не встретит препятствия. Но это сходство – лишь кажущееся: та, женская мощь, беспредметна и нерасчленённа, и препятствие встречается ею пассивно, как нечто неожиданное и случайное. Напротив, Николай сам из себя сознательно направляется действием на некоторый объект, который им же избирается. Он предвидит его и хочет его, и без него не было бы и самого движения».

По натуре Заболоцкий – человек действия. Его основа – вера в разум.

Избираемые Заболоцким «объекты действия», начиная с молодости, а может быть, с детства, были ясно и чётко определены. Он презирал безволие, никогда не плыл по течению. Он предвидел и хотел того, что стремился достичь. Как в поэзии, так и в «жизнейском плане».

С детства он почуял, что станет поэтом. И всеми силами души хотел этого. Но одним «хотением» не ограничился – деятельно стремился к тому, чтобы развить своё дарование и вполне овладеть поэтическим мастерством.

И добился своего. Его «версификационную выучку» один из исследователей (Алексей Пурин) назвал «феноменальной».

Студентом, в Ленинграде начала двадцатых годов, даже загибаясь от голода, он продолжал – сознательно – создавать свой стиль. И создал – неповторимый, сделавший его первую книгу «Столбцы» явлением в русской поэзии.

И в быту, по цельности характера, был таким же.

В неволе, например, думал, как по освобождению кормить семью, – и для этого изучал армянский язык, предполагая заняться литературными переводами. На поселении в Караганде сразу же обратился с письмом в Союз писателей Казахстана, предложив переводить казахских поэтов. Ему не ответили. Языка он, конечно, не знал, но тогда много поэтов пробавлялось переложениями с подстрочников. И в случае положительного ответа Заболоцкий по своей добросовестности наверняка бы занялся изучением казахского – ведь грузинский он потом основательно освоил. Писатели Грузии оказались к нему благосклоннее. Сотрудничество продлилось с десятков лет, книги выходили одна за другой. Впоследствии был издан в Москве трёхтомник великолепных переводов – как современных авторов, так и классики.

♦ «Николай (...) хочет воздействовать на некоторый определённый объект, сознательно и по чувству долга, и устремляется к нему, потому что решил так».

В точности о Заболоцком: решения он принимал в ясном сознании, тщательно обдумав – а исполнял последовательно, будучи человеком долга.

♦ « (...) в своей деятельности идёт, или, точнее, бросается – по прямой и никогда не сумеет и не захочет обойти помеху, но или сметёт её своим натиском, или признает её непобедимой и отскочит в противоположную сторону, опять по прямой, к новому объекту воздействия».

Прямолинейность, а она была свойственна поэту, отнюдь не тупая инерционность или же отсутствие воображения, но – следствие прямооты нрава и чувства собственной правоты.

В творчестве он шёл напрямую, не считаясь ни с кем и ни с чем. Его натиск был ошеломительным, недаром уже к двадцати пяти годам поэт в «Столбцах» заговорил новым, совершенно необычным в поэзии голосом.

В дальнейшем курс партии, конечно, стал ему, как и другим новаторам, изрядной «помехой». Была ли она «непобедимой»? В конце концов поэт мог писать в стол. После сокрушительной критики «Столбцов» со временем он постепенно начал

переходить к форме классической. Но от прежнего опыта не отрёкся, даже в поздних стихах видна львиная хватка автора «Столбцов». Был ли переход к классике естественным ходом его развития как поэта? Мнений по этому множество, и они противоречат друг другу, но всё же вопрос остаётся открытым.

В быту Заболоцкий, столкнувшись с непреодолимым препятствием, бывало, «отскакивал» в «противоположную сторону». В последние годы произошла семейная драма – жена, совершенно неожиданно, ушла на какое-то время к другому. Заболоцкого это ошеломило. Но тут же он устремился – «опять по прямой, к новому предмету воздействия».

♦ *«В самом себе Николай не находит простора и предмета самораскрытия. Он слишком рассудочен, чтобы прислушиваться к подземному прибою в себе, и слишком принципиален, чтобы позволить себе такое, по его оценке, безделье. <...>*

Его жизнь – в деятельности. Деятельность эта безостановочна, потому что Николай не даёт себе ни отдыха, ни сроку, почитая её своим долгом».

Стихиям душевной смуты Заболоцкий явно не поддавался, решительно их подавляя. Он был постоянным тружеником мысли и дела и попросту не мог себе позволить впустую тратить время. Долг же перед поэзией, а потом ещё и перед семьёй, детьми ощущал всегда и исполнению его отдавал все силы.

♦ *«У Николая редко бывают сомнения, что хорошо и что плохо. Антиномии внутренней жизни далеки от него, как и вообще его мало занимает углубляться в области, где трудно дать, или во всяком случае трудно ожидать чётких и деловитых решений. <...>*

Без сомнений и колебаний, Николай всегда твёрдо знает, что можно и чего нельзя, что должно и что запрещено; в своём сознании он раз и навсегда разграничил честное от нечестного <...> и стойко держится его, готовый, при необходимости нарушить свой долг, во всяком жертвам».

Всё это словно бы сказано о Заболоцком. Что должно, честно – а что постыдно и по бесчестности непозволительно, это было у него в крови. И стойкость его поразительна: так, на следствии, несмотря на пытки, не выдал никого. Дошёл до умопомрачения, до временной потери рассудка – а не выдал...

♦ *«Николай рассматривает себя как центр действий, сравнительно мало ощущая иные силы над собою и под собою. Он переоценивает своё значение в мире и ему кажется, будто всё окружающее происходит не само собой, органически развёртываясь и руководимое силами, не имеющими ничего общего с осуществлением человеческих планов, а непременно должно быть сделано некоторой разумной волею. Себя самого он склонен считать таковою, неким малым Провидением, долг и назначение которого – нецись о разумном благе всех тех, кто в самом деле или по его преувеличенной оценке попал в число опекаемых им».*

Кто же не мнит себя «центром действия»? В творческой среде это общее явление. «...что касается поэзии, – вспоминала Наталия Роскина, – тут он никогда не признавал ничьего превосходства даже в самых частных вопросах. Уступить, вернее сделать вид, что отступил, он мог только из вежливости».

Значит ли это, что поэт переоценивал своё значение?..

Есть анекдот: выстроили стихотворцев, дали команду: «На первый-второй рассчитайсь!» Все разом вышли из строя. Все оказались – «первыми». (Оно, впрочем, так и есть: поэт всегда *первый*. Если настоящий – то единственный, а значит, первый.)

Преувеличенная самооценка и крайняя душевная противоречивость отнюдь не мешали Николаю Алексеевичу оставаться чрезвычайно цельной натурой. К тому же всё сдабривалось отменно умной и тонкой самоиронией.

Обратимся снова к свидетельству Наталии Роскиной:

«Как-то, когда он причёсывался перед зеркалом, аккуратно приглаживая редкие волосы, моя Иринка спросила его: “Дядя Коля, а почему ты лысый?”

Он ответил: “Это потому, что я царь. Я долго носил корону, и от неё у меня вылезли волосы”.

И вот – воспоминание о его добродушно-серьёзном лице, которое в эту минуту я видела отражённым в зеркале, воспоминание о спокойной естественном тоне, которым он произнёс: “Я царь”...»

♦ *«У Николая взгляд на окружающих – как у школьного учителя на учеников, у гувернёра – на воспитанников или, лучше, у пристава, хорошего, честного пристава, в маленьком местечке – на всех обывателей. Это постоянное сознание ответственности за всяческое благополучие и порядок даже там, где никто этой ответственности на Николая не возлагает».*

♦ *« (...) при таком душевном состоянии, Николай не может не быть самолюбив. (...) Его неустанная деятельность, в большинстве случаев не имеющая материальной корысти, в значительной мере подвигается самолюбием, как необходимость доказать себе самому и другим и оправдать своё мнение о себе и о носимой им должности. И тогда, борясь против сомнения в нём, Николай может быть суровым и жестоким в своей прямолинейности, считая или стараясь убедить себя, что борется за правду, без которой окружающие же потерпели бы огромный ущерб (...)».*

♦ *«Николай по складу своему имеет доброту, и не может не иметь её, хотя бы по одному тому, что невозможно жить с постоянным чувством ответственности за окружающих и не скрасить этого чувства добрым отношением к опекаемым. Эта доброта имеет однако вполне определённый душевный тон. Она ничуть не похожа на острую жалость обо всём живом, которая порою щемит сердце, но бездеятельна и не понуждает оказать поддержку (...)».*

♦ *«Зорким и деловитым взглядом (...) Николай рассмотрит построение жизни в её фундаментах, людей, с которыми он соприкоснулся, быстро оценит как и что и положит решение помочь в том-то и том-то.*

(...) обладая умом чётким, силою внутреннего натиска и правдивостью, он может иметь и имеет успех в науках и искусствах».

Коли бы Заболоцкий свернул в молодости на стезю науки, он, без сомнения, добился бы многого. Хотя бы потому что был по натуре продолжателем дела своего отца, Алексея Агафоновича.

Возможно, из него мог выйти и художник: рисовальщиком был хорошим.

♦ *«Достигнутое Николаем, как бы оно ни было значительно, лишено благоухания. Фосфоресцирующие светлы не появятся тут: Николай говорит в точности то, что говорит, не больше и не меньше. Из какой-то обидчивости он всегда отвечает миру ответом Корделии: “Я люблю ровно столько, сколько должна дочь любить отца”, но делает это не из застенчивой гордости, а по всегдашней прямолинейности своей мысли».*

В «Столбцах» благоухания, конечно, нет. Однако в поздних стихах («В этой роще берёзовой...») и некоторых других) оно явно ощущается.

Что до *фосфоресцирования*, то тут Флоренский безусловно прав в своём понимании этого имени: к мистике, неопределённости Заболоцкий никак не был расположен.

♦ «Этот ум не склонен к созерцательности. Он может подыматься высоко, в известных случаях, но он всегда остаётся помнящим о себе и потому не приходит в интеллектуальный экстаз. Он не парит. Его нельзя назвать корыстным: но в нём присутствуют какие-то элементы расчёта и утилитарности».

♦ «Он, из всех имён может быть наиболее, ценит в человеке его человеческое достоинство, держится за него в себе самом, боясь выпустить из рук, и требует его от других».

В «десятку»!..

♦ «Мир природный, с одной стороны, и мир мистический – с другой, кажутся ему равно далёкими от разума и разумность исключающими, человечность же – тождественной с разумностью».

И это суждение полностью подходит к Заболоцкому.

♦ «Его собственная сфера – это человеческая культура, понимаемая однако не как высший план творческой природы и не как фундамент жизни горней, но противопоставленная всему бытию. Николай – типичный горожанин и гражданин. Он не доверяет бытию, потому что не чувствует направляющего его Логоса и в душе плохо сознаёт, что “вся Тем быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть”. Слишком далёкий от бытия, чтобы быть заинтересованным отрицать приведённое Евангельское изречение, Николай просто не считается с ним и верит лишь в те божественные силы, которые открываются в сознательной деятельности устрояющего человеческого разума».

♦ «Николай, как сказано, доверяет лишь разуму, – не только своему, но и Божьему, поскольку он обращён к культуре. Николай доверяет лишь сознательному усилию. Это необходимо ведёт к горячности, которая очень характерно отмечает это имя».

Что такое разум, как не одухотворённый ум?

Приземлённый ум спесив, не может не возгордиться собой. Кто заспит свой разум, тут же возомнит себя богом. Давным-давно сказано: спящий разум порождает чудовищ. С каждым веком это всё очевиднее.

Если даже поэт и сторонился религии, всё равно он по сути своей был духовным, верующим человеком.

♦ «<...> Николай прямолинейно и нарочито честен, нарочито прям, волит иметь горячую честность и честную горячность».

На первый взгляд Заболоцкий казался всем уравновешенным и степенным, порой даже скучным и заурядным. Но люди близкие знали, как он остро чувствует и переживает внутри себя. Он был не теплохладен – горяч...

♦ В заметках и подготовительных материалах к части первой своей «Ономатологии» о. Павел Флоренский писал об этом имени:

« (...) Николай. Дополнить и разъяснить: В нём есть чувство священности, хотя нет мистики. Это чувство священности относится к его вере, его попечению, его управлению. Это – не просто дело, а священное дело, своего рода помазанность его на дело. Поэтому он благоговеет перед ним. Поэтому же он склонен искать себе и всяческого поддержания чрезвычайно, торжественно, и поэтому может обращаться к людям, в дух(овный) совет которых он верит и доверяет и какового опыта в себе не знает».

Замечательные по прозорливости слова!

Заболоцкий и был помазан Богом – на поэзию.

Глава третья РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ

В Сернуре семья Заболотских с годами прибавлялась: родились сын Александр, дочери Наталья и Елена. Тяжело пережили беду, случившуюся летом 1912 года, когда скончался младенец Шурочка.

Многодетному семейству приходилось тянуть на одно жалованье сельского агронома. Жили в тесноте, да не в обиде. Бывало, правда, глава семьи по чрезмерной требовательности и приверженности к порядку выходил из себя – и между ним и женой вспыхивали ссоры. Конечно, это были тяжкие минуты для всех. Молодой жене казалось, что муж таким образом корит её за то, что она бесприданница. Плач, слёзы – расстроенные дети. Конечно, сказывались и разница в возрасте (Лидии Андреевне не было и двадцати, когда она вышла замуж), и материальные трудности. Но главное, к ней, которая прежде жила восторженными думами и надеждами о будущем, пришло понимание: с юными мечтами о *борьбе за народное дело*, – и непременно в городе, в гуще жизни – придётся рано или поздно расстаться. И это расставание с тем, к чему она когда-то в девичестве стремилась всем своим существом, было очень болезненным.

По свидетельству сестры поэта, Марии Алексеевны, душой семьи была мать: «Всё хорошее, что в нас есть, заложено мамой. Мама была очень хорошим, умным и справедливым человеком. Любовь к людям, отвращение к лжи и обману она внушала нам с детства. У неё был удивительно чистый и свежий ум, она очень любила книги и привила нам любовь к ним».

Лидия Андреевна рано, десяти лет, осталась без матери. Отец, Андрей Иванович Дьяконов, хоть и носил звание почётного потомственного гражданина города Уржума, слыл «непутёвым» – загуливал и попросту забывал о четырёх девочках-сиротках и сыне. Лидию и других девочек взяла на попечение старшая сестра Ольга. Все они окончили Вятскую Мариининскую гимназию, Ольга, Лидия и Екатерина – с серебряной медалью, стали учительницами. Ольга Андреевна Дьяконова сочиняла и даже печатала в губернской газете стихи, собирала народные песни. Их наверняка слышал ребёнком и Коля Заболотский, – не потому ли уже в его ранних стихах появились фольклорные мотивы...

Сам Николай Алексеевич в очерке «Ранние годы» совсем немного рассказал о своей матери (мамой он её там так ни разу и не назвал) – но её боль и смуту понял.

«Детей у матери было шестеро, и я – старший из них. Погружённая в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томила в захолустье. Когда-то радостная

и весёлая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества, и нерастраченные душевные силы свои выражала в иступлённой любви к детям. Она чувствовала, что настоящая живая жизнь идёт где-то стороной, далеко от неё, сама же она обречена на медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье, и за это их гонят и преследуют; что сестра её, тётя Миля, сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня – Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодёжи. Он славно пел свои неведомые нам студенческие песни и всем своим весёлым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Это была загадка, разгадать которую я был ещё не в силах».

Разгадал ли он эту загадку потом?

Всю жизнь Заболоцкий чурался *политики*, всячески уворачиваясь от неё. Она сама *достала* поэта и изломала ему жизнь.

Похоже, говоря про неразгаданную в детстве загадку, поэт тонко усмехается над своим взрослым тёзкой, и над самим собой, и даже над матерью – её чистыми, наивными мечтами. Уж он-то познал «на собственной шкуре», куда завела эта борьба за народное счастье: как говорится, за что боролись, на то и напоролись...

Итак, Коля-большой горланил весёлые песни – в отличии от Лидии Андреевны, которая порой, в одиночестве, грустно певала запретную песню своей сестры-революционерки про погост в поле и помост на погосте, окрашенный кровью.

Заметим, без песни в доме Заболотских не обходилось. Николаю на всю жизнь запомнилась теплота домашнего очага, книги и песни – петь любили все. Впрочем, в те времена песня была за обычай – в храме, в поле за крестьянским трудом, в любой избе...

Отец прекрасно играл на гитаре, недурно пел. Мать подтягивала ему. По словам Никиты Заболоцкого, сына и биографа, в семье пели русские и малороссийские песни, а порой, хотя и путая слова, марийские. «Лидия Андреевна исполняла что-то из “Аскольдовой могилы”, пела “Виют витры”, “Стоит гора высокая”. Все вместе пели “Буря мглою небо кроет”, “Звёзды, мои звёздочки”, “Липа вековая”. Развеселившись, Алексей Агафонович лихо отигрывал на гитаре и, сощурившись, заодно начинал: “Уж вы, пташки-канашки мои, разлюбезные бумажки мои! А бумажки-то новенькие, двадцатипятирублёвенькие...” Младший брат поэта, Алексей Алексеевич, говорил впоследствии, что с детства запомнил всё, что звучало в доме – от колыбельных и детских песен до романсов и оперных арий.

Николаю достался от родителей и голос, и хороший музыкальный слух, и любовь к пению. От отца перенял игру на гитаре, чуть позже освоил балалайку...

Как-то в ноябре 1921 года в голодном Петрограде Заболоцкому вдруг почудилось давнее: зима, родительский дом. В ту пору вести с родины шли неутешительные: дома перебивались с хлеба на воду, отец болел, совхоз его «шатался»... А тут Николаю стало ещё известно от одной студентки, что его ближайший друг, Михаил Касьянов, сильно захворал, попал в больницу. Он кинулся писать письмо Мише, – есть в том письме такие слова: «Просыпаясь по ночам и дрожа под своим одеялом, долго думал о тебе. <...>

Я немного нездоров. Папироса не доставляет удовольствия, мысли скачут, холодные пальцы лениво движут перо. Сегодня я вспомнил моё глубокое детство, Ёлку, Рождество. Печка топится. Пар из дверей. Мальчишки в инее. – Можно прославить?

Лежал в постели и пел про себя:

– Рождество твое Христе боже наш...

У дверей стояли студентки и смеялись...

Запел бы вслух – ещё громче бы засмеялись: какое же Рождество, когда на дворе пока только осень... А ведь он, подчиняясь древнему, исконному чувству, по существу, молился о друге...

Поскреби русскую душу, в её, ещё не затвердевшей, *советской* коросте, – а там Христос.

Времена настали другие: если прежде гнали революционеров (впрочем, со старорежимной мягкостью, по-домашнему), то теперь гнали всех *бывших* – со зверской беспощадностью (сознаём, привычный эпитет в этом случае оскорбителен для зверей: животные, в отличие от людей, массово не убивают себе подобных). Священников – тех преследовали и уничтожали чуть ли не в первую очередь.

В своём очерке «Ранние годы» Заболоцкий ни словом не обмолвился о родословной матери, Лидии Андреевны. Неизвестно даже, знал ли он хоть что-нибудь о её предках? Коли знал – то скрывал: ему, битому-перебитому властью, приходилось быть крайне осторожным. Поэт не желал снова очутиться в неволе. Стать «повторником», то бишь опять загреть в лагерь можно было в два счёта: *органы* «бдили» с удвоенным вниманием за всеми недавними зэками. Попасть вновь под арест – значит, поставить крест на своей поэтической работе и обречь семью на новые испытания. Он не имел права на это...

Лидия Андреевна носила в девичестве «говорящую» фамилию – Дьяконова. По материнской линии она была родом из семейства потомственных священников. Среди её старинной родни были в основном приходские священнослужители, а кроме них – морские офицеры, флотский вице-адмирал. Разумеется, в государстве оголтелого богоборчества даже такое отдалённое родство люди старались держать в тайне.

Священники по духу своему и по роду деятельности неразрывно связаны с искусством слова. Недаром у родной тётки будущего поэта по материнской линии проявилась тяга к литературному творчеству, а его двоюродный брат стал писателем. Есть все основания предположить, что художественный дар передала Николаю Заболоцкому его мать, Лидия Андреевна. Такого мнения, в частности, придерживается замечательный поэт Светлана Сырнева, живущая в городе Кирове, с которой недавно мы долго разговаривали о Заболоцком. От отца же Николай Алексеевич явно унаследовал свой огромный естественнонаучный пыл...

Про отца, Алексея Агафоновича, Николай Заболоцкий сказал в своём очерке, что тот был «умеренно религиозен». О своих же религиозных взглядах – умолчал. Вполне возможно, что и говорить-то было почти не о чем: поэт верил больше в человеческий разум, способный преобразить жизнь к лучшему, нежели в высшие силы. Ему была близка отнюдь не мистика, а *положительные* – естественнонаучные – знания о мире и природе. И в этом он, несомненно, следовал отцу-агроному, убеждённому практику созидающего труда.

У отца на Епифаниевской ферме были и новые, ухоженные делянки с девятипольным севооборотом, и, тут же по соседству, с трёхпольным – захудалые участки, которые обрабатывались по-старинке. Так, наглядно, Алексей Агафонович приучал к передовой культуре земледелия своих упрямых и косных земляков. Мужики частенько навещали ферму и заглядывали на огонёк к самому агроному, чтобы потолковать о хозяйстве, об урожаях. У того дома была даже устроена небольшая лаборатория, где Алексей Агафонович показывал своим недоверчивым подопечным, как определять всхожесть семян, оценивать качество почвы и вносить в неё минеральные удобрения.

Любознательный сын Коля прислушивался к разговорам – и вскоре завёл в чулане собственную лабораторию, в которой с важностью демонстрировал братишке Алексею – по-домашнему Лёле, Лелюхе – различные химические опыты. Повзрослевший «Лелюха» впоследствии писал к старшему брату: «С раннего детства, кроме увлечения стихами, мне вспоминаются твои занятия химией. Помнишь, как в чуланчике в Сернуре ты мудрил с колбами и пробирками? Все обычные химикалии – серу, купорос и прочие – я впервые увидел и запомнил в твоих руках. Потом это увлечение сменилось другим – журналом “Жулик”. Далёкие, милые времена нашего детства!»

Алексей Агафонович Заболотский по вечерам в домашнем кругу любил порассуждать «о вечности и бесконечности», как подшучивала над мужем Лидия Андреевна. Близкие, бывало, слегка посмеивались над философствованием главы семейства, видно, считая это чудачеством. И лишь старший сын всерьёз слушал отца: недаром позже, в молодости, Николая сильно увлекли космические идеи «калужского мечтателя» Константина Эдуардовича Циолковского. Научный прогресс и его достижения были главным, что виделось отцу и сыну в будущем человечества. Но как соотносились между собой религия и наука в уме и душе молодого поэта?

Николай Сбоев, земляк и студенческий товарищ Заболоцкого, в своём мемуарном очерке «О юности поэта» припомнил один эпизод из их петроградской молодости: «...» склонности к религиозным переживаниям молодёжь не имела, кроме меня. Н. А. Заболоцкий как-то раз сделал даже попытку повлиять на меня в сторону отвлечения от религиозных настроений и высказал тот практический аргумент, что атеистическое, естественнонаучное мировоззрение недоступно для насмешки, тогда как верующего оскорбить очень легко».

Довольно странный «практический аргумент».

Знания относительны, они только бесконечно приближаются к истине, не в силах её до конца постигнуть, – то есть сами по себе уязвимее для насмешки. Тогда как Бог непоругаем, и оскорбить верующего, у кого Он в душе, в принципе невозможно. Наверное, естественнонаучное мировоззрение казалось тогда молодому поэту абсолютной истиной. Для человека же, уверовавшего в науку, религией становятся знания.

Вспомним ещё и то, что студенты-земляки жили в стране, где воцарился вульгарный материализм, открыто глумившийся над «мракобесием» верующих, – и, вполне вероятно, Заболоцкий хотел попросту уберечь своего друга от неприятностей.

Но возможно и другое. Не свидетельствует ли «аргумент» молодого поэта косвенным образом о том, что и сам Николай был отчасти склонен к религиозным переживаниям, но скрывал их от посторонних. Святыня на то и святыня, чтобы хранить её в тайне, в самой глубине души. Согласно библейской заповеди, не должно метать бисер перед свиньями.

В любом случае, чужая святыня была для Заболоцкого не менее дорога, чем своя. Эта участливость, как и обострённое чувство человеческого достоинства, конечно же, не возникает сама по себе. Они ненароком воспитываются в семье, словом и делом близких. И отец и мать были людьми твёрдых нравственных правил, людьми долга. Лидия Андреевна всю себя отдавала детям. Алексей Агафонович отнюдь не только проповедовал среди окрестных крестьян передовые земледельческие навыки, но и стремился, насколько возможно, помочь им в жизни. Глядя на родителей, подраставшим братьям и сёстрам без лишних слов становилось понятно: добро должно быть деятельным. Никита Заболоцкий выбрал в своём жизнеописании характерный пример из жизни своего деда.

«Первый год его работы на сернурской ферме был очень неблагоприятным – неурожай подкосил крестьянские хозяйства, в округе наступил голод. Нужно было как-то помочь крестьянам. Обратимся к свидетельству марийского писателя и краеведа К. К. Васина, который писал: “А. Заболотский и его друзья-учителя и почтовые работники решили открыть для детей в селе бесплатную столовую. Собрали между собой деньги, но так как все они были людьми небогатыми, то денег оказалось мало. Тогда Заболотский написал в Петербург Шаляпину, который был уроженцем Вятской губернии, и попросил его как земляка помочь в осуществлении доброго дела. Шаляпин откликнулся на просьбу, прислал денег, и столовая была открыта”. Этот факт отмечен и в “Журнале Уржумского уездного земского собрания”, где, кстати, неоднократно упоминается земская деятельность агронома Заболотского – участие в организации сельскохозяйственных выставок, чтение лекций по земледелию на сельскохозяйственных курсах и для общественности. Недаром Лидия Андреевна, бывало, с гордостью говорила о муже: “Все в округе уважают Алексея Агафоновича. С его мнением и в земстве очень даже считаются”».

С февраля 1917 года в России переживала новую революционную смуту. Началась она в столице, Петрограде, но постепенно дошла и до окраин. С германской войны возвращались солдаты, вдрызг распропагандированные эсерами, большевиками, анархистами. Местные самодельные «демократы» подливали масла в огонь: кричали на митингах, разбрасывали листовки-агитки, создавали различные комитеты, которые только-то и могли, что будоражить умы и плодить беспорядок и разруху.

В Сернуре на Епифаниевской ферме тоже обнаружили недовольные – не всем по нраву был строгий и требовательный агроном Заболотский. Как ни сторонился Алексей Агафонович всяческой политической возни, всё равно не уберёгся. Однажды к нему в дом завалилась кучка шумных, возбуждённых крестьян с его же хозяйства, и малознакомый мужик в солдатской шинели предъявил хозяину ордер на обыск. Подросток Коля с изумлением разглядывал солдата с ружьём, размахивающего перед лицом отца листом бумаги. О чём он кричит? Что в избе прячут оружие и продовольствие? Бред – да и только!

Ничего, разумеется, эти мужики не нашли – ни в комнатах, ни в чулане.

Зато юный сочинитель нашёл превосходный материал для задуманного им шуточного журнала.

Однако отец, уже наслышанный о первом номере «Жулика», потребовал на просмотр рукописный журнал сына – и решительной рукой вырвал страницы с бойкими сатирическими виршами о незваных гостях. Глава семьи отнюдь не был расположен к сомнительным, по его мнению, шуткам на такую тему.

Всё бы это, конечно, забылось, если бы не свежая память брата Лелюхи – она удержала кой-какие строки. По отрывкам воссоздаётся картина: некий «Скворцов», забравшись на «бочонок», – очевидно, дело происходит на митинге «активистов», – толкает речь:

– Вы, ребята, не шумите,
Не кричите, не орите!
Покричать бы сам я рад,
Что долой, мол, агронома, –
Снаряжайте вы солдат,
Пусть поищут они дома...
Пулемёты есть большие
И заряды к ним стальные...

Алексей Агафонович, прочитав стишки в журнале «Жулик», не долго думая бросил вырванные листы в печку.

Так, ещё подростком, будущий поэт впервые столкнулся с *цензурой*.

Тогда это его, конечно, только позабавило...

Отца он послушаться не мог, но на его действия тут же откликнулся новыми шуточными виршами. И эти строчки тоже сохранила нам цепкая память младшего брата Лелюхи:

Я – первый номер «Жулика»,
Обиженный судьбой, –
Истерзанный цензурою,
Нешадною рукой.
Листы мои повыдраны,
В огонь пошли стихи...

Второго номера «Жулика», по-видимому, уже не последовало...

Мнение отца было для сына – самым весомым. Домашние, бывало, слегка посмеивались над склонностью почтенного агронома к толкованиям «о вечном и бесконечном». Один Николай был серьёзен и не разделял общего настроения. Брат, Алексей Алексеевич, будучи уже в пожилом возрасте, впоследствии писал к племяннику Никите, собиравшему сведения о жизни Заболоцкого: «<...> я не помню, чтобы Коля шутил по этому поводу. Отца он всегда любил и очень уважал. Уже в послевоенные годы в одном из писем он писал мне, что отцу он обязан очень многим, что от него в большой степени наследовал он и свои творческие возможности... Слов нет, все мы очень обязаны и нашей маме, мягкой, доброй, сердечной <...>».

В отличие от других детей, тянувшихся к матери, для старшего брата авторитетом был отец и его жизненный пример.

С отцом у Николая Алексеевича связано самое дорогое, что было в детстве – это совершенно очевидно, если судить даже только по одному автобиографическому очерку «Ранние годы».

В 1913 году, десятилетним мальчиком, Коля впервые расстался с домом – переехал, чтобы продолжить учёбу, за полсотни вёрст в уездный Уржум. Как бы ни было ему интересно в этом «большом городе», поначалу наверняка грызла тоска по родному крову, по родителям, по брату и сёстрам. Как и другие мальчишки, приехавшие издалёка, он жил в ожидании заветных каникул. Да случалась и нечаянная радость...

«По временам из Сернура приезжал отец и забирал меня к себе в номера Потапова. Здесь мы вели роскошную жизнь – лакомились икрой, копчёной рыбкой, сыром. Всё это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги – одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казённых лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках – настоящий богатырь-бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20-25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая на снежных пустынях полей, развёртывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и

визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замёрзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да лёгкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с ёлки и уронившей в сугроб целую охапку снега, говорили о том, что не всё здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная беззвучная, но никогда не умирающая до конца».

Прервём на мгновение это дивное воспоминание о дороге домой.

По свидетельству близких и родных, Николай Алексеевич не любил рассказывать о себе, о своём детстве, о родительском доме, о жизни в Сернуре, Уржуме, а позже в Москве и Петрограде. Никита Заболоцкий считает, что отец не склонен был обнаруживать историю формирования своей души. И происходило это не только потому, что не хотел-де касаться дорогих его сердцу воспоминаний: «Было в начале жизни поэта нечто такое, что позднее он постарался изжить в себе, – что-то несоответствовавшее его дальнейшей жизненной программе, болезненно отзывававшееся в нём. Подобно тому как он упорно вырабатывал правильную речь, избавляясь от характерного вятского выговора, освобождался он и от юношеской провинциальной сентиментальности и наивности. Потом, в письмах 1928–1929 годов, он писал: “За моей спиной так много неудач, лишений и слабоволия...” – и сетовал на то, что пока ещё недостаточно отвердел, чтобы быть учителем жизни, то есть, как он понимал, – поэтом».

Никто не знает человека лучше его родных. Однако это объяснение всё-таки не кажется нам до конца полным и убедительным. Почему люди молчат о себе, о своём самом дорогом? Возможно ли, если даже захочешь, *сказаться*? Определяя словом *нечто* – некое чувство, таящееся в душе, – мы разрешаем, то есть изымаем в себе это *нечто*. Оно живое, многосложное, неразъёмное, его лучше бы вообще не трогать. Что останется в душе, если невзначай выдашь сокровенное? Золотая рыбка живёт в глубине морской, а вытащенная на берег, становится серой. Коль скоро мысль изреченная есть ложь, то как же тогда искажается, повреждается то неизреченное, что люди пытаются выразить словом...

Тем драгоценнее эти воспоминания о ранних своих годах, что поведал Заболоцкий почти на излёте жизни, после «звоночка» тяжелейшего инфаркта. Будто бы заранее прощаясь с жизнью, дал он волю своей душе...

И сколько истинной свежести в его рассказе, сколько целомудренной радости!

«Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно ещё не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным, еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замерзшие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжёлая повозка провалилась и упёрлась передком в твёрдую льдину. Вода хлестала через по меховому одеялу, и мы были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей, грязной избе, окружённые полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха – существо, лишь отдалённо похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звёзд, когда всё село уже спало и только в нашем доме светился огонёк: домашние ждали нас».

ОТЕЦ. ПОСВЯЩЕНИЕ

После оскорбительного обыска в его доме старому агроному стало неуютно на Епифаниевской ферме, которую он поднял когда-то из праха своими трудами и усилиями.

Дети, подрастая, перебирались на учение в уездный Уржум – подались вслед за ними из обжитого Сернура и отец с матерью. В Уржуме Алексея Агафоновича как самого опытного в сельском хозяйстве уезда, вновь поставили во главе фермы, куда был согнан весь породистый скот, отобранный у помещиков.

Никита Заболоцкий в своей книге пишет:

«Семье предоставили дом, где расположилась и лаборатория агронома. Возобновились опыты на полевых делянках, в плодовом питомнике, на пасеке. В 1919 г., когда создалась угроза прорыва армии Колчака к Уржуму, А. А. Заболотский эвакуировал племенной скот в отдалённые деревни, заразился там тифом и долгое время не мог оправиться. После болезни он возглавлял Уржумский совхоз (бывшую ферму), занимался общественно-просветительской работой. В 20-х годах создал в Уржуме краеведческий музей и передал в него свою коллекцию, собранную во время поездок по деревням Уржумского уезда. Среди прочих экспонатов были там древние рукописи на плотной, похожей на пергамент бумаге, куски старинной кольчуги, зуб мамонта, гербарий местных растений... Для музея А. А. Заболотский составил таблицы, отражавшие природу края и структуру его сельского хозяйства».

Любопытную подробность из тогдашней жизни припомнил младший брат поэта, Алексей Алексеевич: однажды по просьбе отца Николай нарисовал плакат-диаграмму познавательного толка – «Польза и вред, приносимые нашими птицами».

Казалось бы, незначительный случай. Но воображение поэта – стихия, живущая сама собой. Спустя годы *птицы* уже по-хозяйски залетели в стихи Заболоцкого. Не могли не залететь: ведь они, и по одиночке и стаями, жили, летали и пели в творениях Велимира Хлебникова, его любимого поэта, – и надо же было им куда-то деваться после того, как тот расстался с земной жизнью.

Сначала это было воспоминание детства:

Колыхаясь еле-еле
всем ветрам наперерез,
птицы лёгкие висели,
как лампы средь небес <...>

Конечно, речь о жаворонках. Висят они, незримые в воздухе, а серебристое их пение – как свет, что льётся с небес. И потому они – что лампы. Поют-светят – воле, природе, жизни, Богу.

Их глаза, как телескопики,
смотрели прямо вниз.
Люди ползали, как клопики,
источники вились <...>.

А это уже не только жаворонки – а птицы вообще, смотрящие с высоты на землю. Пусть эта вышина преувеличенная – воображению это легко представить.

Мышь бежала возле пашен,
птица падала на мышь.

Трупик, вмиг обезображен,
убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,
мышку пальцами рвала,
изо рта её водица
струйкой на землю текла <...>.

Детская сказочка, да и только!..

Жаворонки уже исчезли – появились пернатые хищники, расклёвывающие свою жертву. Это показано без прикрас, во всей наивной простоте и физиологической, в общем-то отвратительной наготы. Как резко меняется благостная картина, нарисованная в первой строфе! Но так – в жизни, в природе, так устроен мир, – и автор прямо, взором естествоиспытателя смотрит на вещи.

И сдвигая телескопики
своих потухших глаз,
птица думала. На холмике
катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,
в тарантасе я сидел
и своих несчастий долю
тоже на сердце имел.

(«Птицы», 1933)

Отец, Алексей Агафонович, не однажды брал с собой в поездки по деревням сына Колю. Тогда ли ещё мальчик представлял себе птицу, рвущую в камыше пойманную мышь? Тогда ли впервые задумался о природе, где всякая тварь для другой служит пищей?..

В 1933-м *доля несчастий* Заболоцкого куда как возросла в сравнении с детскими. Голодная молодость в российских столицах... чрезвычайно трудный путь к себе – поэту... обруганная, как редко даже в те беспощадные годы, первая книга стихов... Ни матери, ни отца уже не было на земле – этих своих переживаний поэт не поверил и стихам...

В коротком стихотворении «Птицы» он слегка набросал тему, к которой вскоре обратился в одноимённой поэме, – по крайней мере, тут уже есть пара героев: учитель, ещё невидимый, и ученик, познающий природу.

В том же 1933 году Николай Заболоцкий написал три «натурфилософских», как их обычно называют, поэмы: «Деревья», «Птицы» и «Облака» (последняя не сохранилась).

Поэма «Птицы» поначалу имела посвящение – «Памяти моего отца».

Заметим, Николай Алексеевич крайне редко посвящал кому бы то ни было свои произведения. (К примеру, матери, Лидии Андреевне, не посвятил ничего, да и образ её нигде не проглядывается в его стихах.) Этим посвящением поэт, очевидно, указывает на то, что прототипом старого учителя-естествоиспытателя в поэме является его отец-агроном.

Сам облик Алексея Агафоновича время от времени мелькает в поэме. Правда, внешняя примета лишь одна – косматая борода. (Учитель, обращаясь к птицам, говорит: «мягкий мой рот в бороде шевелится косматой» или, позже, беседуя с

малиновкой: «<...> Мы с тобою, малютка, / тоже, наверно, два облачка, *только одно с бороною*, / с лёгким другое крылом – и оба растаем навеки».) Но важнее внутреннее сходство: речь учителя, его тон, необыкновенно сердечный разговор с птицами и со своим учеником, который ведёт мудрец, чувствующий, что скоро покинет этот мир. В образе учителя явственно видно то высокое, что было смыслом для Алексея Агафоновича Заболотского, всю жизнь положившего на познание природы и гармоничное устройство жизни всех обитающих на земле существ.

Несомненно, реальный агроном А. А. Заболотский весьма далёк от того собирательного образа учёного-естествоиспытателя и преобразователя природы, который создан воображением поэта в «Птицах». Николай Заболоцкий презирал, особенно в первый период своего творчества – время «Столбцов», голимое «фотографирование», считая его наглым искажением сути.

Учитель в поэме желает разом преподать урок и своему молодому ученику и птицам, которых он призывает к себе – наблюдать за опытом в лаборатории.

Опыт, что он затеял, сам по себе жесток – препарирование, по существу вивисекция голубя.

Спрашивается, почему для опыта избран (в конце концов не учителем – а поэтом) именно голубь?

В Ветхом Завете говорится о ритуальном убийстве голубей – как богоугодной жертве.

Именно голубь из ковчега приносит в клюве Ною масличную ветвь – как знак того, что Божье наказание потопом закончилось и вода сошла с поверхности земли.

В Новом Завете с голубем связано святое: «<...> я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (Ин., 1, 32). Потому и славянам голубь представляется святой птицей.

Возможно, для того *голубь* и понадобился Николаю Заболоцкому: в нём он нашёл символическое средоточие смыслов человеческой истории и всей жизни человечества.

Учитель передаёт свои знания ученику с помощью сурового опыта. Он словно бы направляет руку и скальпель своего молодого последователя, подробнейшим образом расписывая его действия. Иначе тот не поймёт строения голубя и не сможет выполнить когда-нибудь высшего предназначения науки, состоящего, по убеждению учителя, в слиянии сознания всех живых существ, более того, в соединении всего сущего на земле – и, на этой основе, в преобразовании самой жизни:

Если бы воля моя уподобилась воле Природы,
если бы слово моё уподобилось вещему слову,
если бы всё, что я вижу – животные, птицы, деревья,
камни, реки, озёра, – вполне однородным составом
чудного тела мне представлялись – тогда, без сомненья,
был бы я лучший творец, и разум бы мой не метался,
шествуя верным путём. Даже в потёмках науки
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе
мира, где все перемены направлены мудро
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы
в новые были отлиты, лучшего вида сосуды.

По мнению Н. Н. Заболоцкого, сына и биографа, тут «квинтэссенция» мысли автора:

«Вот к чему стремился Заболоцкий – осознать всё сущее равно в могучем составе чудного тела природы. И тогда смерть исчезает, а разум человека делается общим достоянием и животных, и птиц, и деревьев, и даже камней, рек и озёр. Это чудное тело, вместившее всё сущее в мире, вечно живёт и развивается по своим, высшим законам, основанным на нравственной чистоте и гармонии».

Вполне вероятно, что эти же устремления ощущал Николай Заболоцкий и в своём отце – по крайней мере, именно Алексей Агафонович пробудил и воспитал такие чувства и желания в своём сыне.

Однако художественная ткань поэмы гораздо богаче, разнообразней того, что заключено в этой *квинтэссенции*: поэт, по своему существу, шире и противоречивей философа, а уж тем более натурфилософа.

Благие устремления героя поэмы, возможно, в какой-то мере и совпадали с мировоззрением автора, но художник не мог не подметить того, что желания учителя весьма далеки от их осуществления. Да и сам главный персонаж осознаёт, что его наука – ещё «потёмки»: он лишь угадывает «могучий состав мира» и «мудрость» его движения к переустройству, к тем заветным «лучшего вида сосудам».

Предчувствие – ещё не есть твёрдое знание. «Лучшим творцом», при всей гениальности, можно стать только – на человеческом уровне. Разум, как его ни обожествляй и не усовершенствуй, Богом тебя не сделает: в лучшем случае приблизит к Богу, если, конечно, самодельного творца не занесёт гордыня – известно куда и к кому. Истинный Творец – один. И человек, как бы его высоко ни поднимали мечты, в глубине души понимает это.

Недаром, по расчленении голубя, учитель погрузился. До этого он с благодушной сердечностью напутствовал «острый ножик» ученика – и вот перед ними жалкая кучка тонких косточек, нервов, сосудов. Всё, что осталось от сизокрылого красавца голубя, который ещё недавно был небесной птицей, летал, гостил на колокольнях, ворковал, приближаясь к подруге голубке.

«...» голубь больше не птица, и вместе с подругой на крышу больше не вылетит он. Даже если бы мы захотели органы снова сложить и повесить к костям, и сосуды так протянуть, чтобы кровь побежала по жилам, мускулы так сочетать, как прежде они сочетались, чтобы всё тело прежний приняло вид, – и тогда бы голубь не ожил... Бессильна рука человека – то, что однажды убито, – она воскресить не умеет.

Вивисектор – отнюдь не Творец, умеющий и создавать и воскрешать...
Зачем же убит голубь?

Зачем учитель призывал птиц в свидетели своего опыта над ним, зачем так искренне и добродушно уверял пернатых обитателей природы, что его жертва «не кровава»? Ещё как кровава!

Литературовед Евгений Яблоков в статье «Мистерия анатомического театра» заметил про учителя, что это его утверждение явно противоречит фактам, но «<...> возможно, подразумевает, что действия героя не являются жертвой в принципе, не имеют символического характера. Тем самым он вступает в скрытую полемику с Ветхим Заветом, одобряющим кровавые жертвы, в частности ритуальное убийство голубей».

Яблоков обращает наше внимание на характерную подробность: «<...> в поэме подробно описана поза привязанного голубя: растянутые к углам доски крылья и

лапы образуют *крестообразную* фигуру». Филолог заключает: «Отрицание идеи кровавой жертвы вводит оппозицию ветхозаветной и новозаветной парадигм и, соответственно, двух модусов отношения к голубю. Коллективная трапеза, во время которой съедается его тело, ассоциируется с причастием, но характерно, что лирический герой и ученик не участвуют в “ритуале”, потребляя мясо другого живого существа (коровы. – В. М.) <...>».

Что ж, весьма по-научному. Говорят, что учёный язык точен, – наверное, так оно и есть, не берёмся судить. Впрочем, филологический язык понять ещё можно – в отличие, к примеру, от нынешнего философского, который воспарил к таким высотам точности, когда по-русски звучат, кажется, одни лишь междометия.

Литературовед напоминает о состоявшейся в Петербурге в 1903 году бурной дискуссии по поводу смертельных опытов учёных над животными. Тогда Иван Павлов, будущий знаменитый физиолог, с негодованием отвергал доводы мнимых гуманистов, которые называли исследователей палачами и обвиняли их в мучении животных. Павлов называл это плохо замаскированными проявлениями вечной вражды и борьбы невежества против науки, «тьмы против света». Естествоиспытатель отнюдь не палач и не мучитель – он действует в интересах истины, для пользы людей и вполне ощущает драматизм своего положения. В силу высшего гуманизма он преодолевает в себе естественное чувство жалости к живым тварям, которые служат ему материалом для исследований.

Евгений Яблоков замечает: «Однако на этом фоне фабула поэмы Заболоцкого тем более парадоксальна: вивисекция здесь, в сущности, самоцельна, в действиях лирического героя нет очевидного практического смысла. Вначале намечена “учебная” задача – “строение голубя... узнать”; в итоге же констатируется неспособность найти источник жизни. <...> образ голубя у Заболоцкого придаёт ситуации символический смысл: перед нами сюрреалистическая метафора отношений разума и бытия».

Лирический герой – изобретение литературоведов. Заметим попутно, это – довольно условное определение того, что на самом деле является одним из состояний поэта, если угодно – личин, каковых, естественно, может быть великое множество, как и душевных настроений. Но личины отнюдь не отменяют авторского лика, который, существуя сам по себе, всё равно в них просвечивает. «Мадам Бовари – это я», – утверждал Флобер, – и уж он-то знал, что говорил. И Лев Толстой в «Анне Карениной», предстал, конечно, далеко не только в образе Левина...

Просим прощения, мы немного отклонились от толкования главного в мысли Евгения Яблокова: мы полностью согласны с тем, что Заболоцкий создал в картине опыта с голубем некую сюрреалистическую метафору «отношения разума и бытия». Неспроста весь ужас этого *сюра* чувствует самая юная, незащищённая душа – мальчик-ученик. В тот миг, когда видит тучи птиц, слетающих на призыв учителя:

Ну-ка, мальчик, придвинь свою доску. Но что там случилось?..

Ты побледнел и к окошку бросился. Чьи это крики

ветер донёс до меня? Крики всё громче и громче.

Птицы! Птицы летят! Воздух готов разорваться,

Сотнями крыл рассекаемый. Вот уж и солнце померкло,

крыша пошла ходуном – птицы на ней. А другие

лезут в трубу. Третьи к стеклу прислонились,

кажут мне клювы свои, дают стекло, друг на дружку

прыгают, бьются, с криком щеколду ломают <...>.

Мальчик бессознательно, глубиной крови ощущает в себе древний ужас своих доисторических предков, которых некогда, в геологические времена, расклёвывали страшные крылатые хищники-великаны...

Но и сам старик-учёный тоже напуган, хоть и пытается шутить и сохранять благодушие в голосе:

Птицы, чур меня, чур! Стойте, я сам! Подождите!
Ты, сорока, чёрт бы побрал тебя! Вечно
хочешь вперёд заскочить. Перестань своим клювом дубасить!
Полно стучать по стеклу.
Сломаешь стекло – не поставишь новое <...>».

Сюрреалистично и само желание учителя объять необъятное, его притязания на удел «лучшего творца».

«Образ голубя», трапеза птиц и участников опыта, наверное, затем и понадобились Николаю Заболоцкому, чтобы столкнуть историческое и доисторическое, языческое и христианское, предугадывая будущее «отношений разума и бытия».

Евгений Яблоков точно распознаёт *мотив инициации* в поэме: учитель, направляя своего ученика, действительно, *посвящает* его в дело своей жизни, в естествоиспытатели.

Так и Алексей Агафонович Заболотский сознательно или же ненароком посвящал своего старшего сына Колю – когда беседовал с ним, окружал книгами, брал с собой в поездки по деревням, благоволил его химическим опытам, поручал рисовать просветительские диаграммы.

«Таким образом, – приходит к выводу Е. Яблоков, – мотив инициации двусмыслен: если в обыденно-профессиональном (то ли исследовательском, то ли прозекторском) плане лирический герой и мальчик, по-видимому, преуспели, то в аспекте “духовно”-мистическом потерпели (ожидаемое) фиаско. Заметим, что ученик не принимает участия в прогулке с птицами и его отсутствие никак не объясняется. С содержательной точки зрения это логично: в заключительной части поэмы доминирует тема личной смерти, которая мальчика “пока” не касается. Но возможно и иное объяснение: лирический герой сам “вернулся” к детскому состоянию, так что образы взрослого и ребёнка взаимно “аннигилировали” – проводы птиц (движение вслед за ними) означают выход во временной хронотоп, где формальный возраст не имеет значения».

Старому учителю в поэме – после инициации – остаётся одно: вечный покой. Оттого, наверное, и разговор его последний – с птицами и учеником – так проникновен и силен: он завершил свои труды и прощается с жизнью:

Тихий закат над землёю повис. Красноватые пятна
на пол ложатся от стёкол. Таинственный отдых природы
близок. Мальчик, открой-ка нам дверь и вечернюю шляпу
дай мне с гвоздя. Привет тебе, ясный мой вечер,
вечер жизни моей, и старость моя! Скоро-скоро
лягу и я отдохну, и над вечной моею постелью
пусть плывут облака, и птицы летят, и планеты
ходят своим чередом. И чем ближе мой срок, тем всё больше,
птицы, люблю я вас. Малые дети Вселенной,
крошки, зверушки воздушные, жизни животной кусочки,
в воздух подъятые, что вы с таким беспокойством

смотрите все на меня? Что притихли? Давайте-ка вместе
выйдем отсюда и солнце проводим на воздух.

Ну, шагайте дети мои. <...>

Приближается ночь, и с нею, как в сказке, появляется Сон – ходит по дворам,
постукивает в колотушку.

<...> Всё-то ходит,
всё-то смотрит: «Кто тут не спит ещё? Я вот его!..» Только эти,
эти только слова, и больше ни слова не надо...

* * *

Тут, видно, и должна была окончиться поэма.

Она уже до предела напоена грустью.

Сон – прообраз смерти, растворения в вечности – и сам уже похож на последнюю сказку.

Однако Заболоцкому хотелось видеть поэму напечатанной. Рукопись он передал другу, Николаю Степанову, с тем, чтобы она была опубликована в журнале «Звезда». Спустя некоторое время, как пишет Никита Заболоцкий в своей книге об отце, поэт с женой пришёл к Степановым и снова просмотрел текст, а потом «<...> сделал небольшие исправления, снял посвящение и дописал конец поэмы. В новых заключительных строках чётко декларировалась мысль автора о роли человека в преобразовании природы».

Концовка, что и говорить, куда как оптимистична – она о победительной силе разума, в который, несмотря ни на что, верит учитель:

<...> Земля моя, мать моя, знаю –
твой непреложный закон. Не насильник, а умный хозяин
скоро придёт человек, и во имя всеобщего счастья
жизнь перестроит твою. Знаю это. С какой любовью
травы к травам прильнут! С каким щебетаньем и свистом
птицы птиц окружат! Какой неистленно прекрасной
станет Природа! И мысль, возвращённая сердцу, –
мысль человека каким торжеством загорится!

Праздник природы, в твоё приближение – верю!

Разделял ли тогда поэт вполне эту веру своего героя?

Окружавшая его реальность, – как справедливо заметил литературовед Е. А. Яблоков, – «не внушала особенного оптимизма насчёт перспектив разума». Ещё бы!..

К 1933 году Заболоцкий, вдрызг разруганный литературной критикой за «Столбцы» (согласно «духу времени», многие статьи ничем не отличались от политического доноса), сполна ощутил, как давит художника *окружающая* среда, загоняя его в убогую идеологическую клетку. Да и какой была обстановка в стране? Весной 1933 года, после нескольких лет *сплошной*, насильственной коллективизации на селе, во многих районах и краях свирепствовал массовый голод. Кремлёвские «лучшие творцы» проводили *раскулачку* – сводили на нет по-настоящему лучшее крестьянство. Мужиков под арест или того хуже – к стенке, семьи – вон из домов,

имуущество и скот – колхозу. Обобществляли до квашни, до кошки под лавкой и тополя во дворе. А потом всех, от мала до велика, этапом – за сотни и тысячи километров: на север, в Сибирь, на Дальний Восток – в тундру, в леса и болота, в безлюдную и безводную азиатскую степь. Кто не погиб дорогой или на месте от голода и болезней, тот сгодился стране как самая дешёвая рабочая сила. Власть решила, что подневольный труд – самый эффективный, хотя на самом деле всё было совсем наоборот. Сталин публично приравнивал коллективизацию по значению к «Великому Октябрю». Ещё бы, исполнялась заветная мечта его учителя Лени на – искоренить мелкого собственника. Лишь полное порабощение крестьянства в крестьянской стране могло «настоящим образом» утвердить советскую власть. Позже вождь назвал примерную цифру людских потерь в ходе этого *Малого Октября* – 10 миллионов человек.

Николай Заболоцкий, хотя и был горожанином, понимал, конечно, что происходит в стране. Знал из разговоров с товарищами, по глухим слухам «с мест», умел читать газеты между строк. На памяти были и недавние картины людских бедствий в годы Гражданской войны. Кроме того, к нему приходили вести с вятской отчины...

Всё это могло пошатнуть его убеждения о торжестве человеческого разума. Но мы знаем и другое: Заболоцкий мыслил *временами*, а не *текущим моментом*. Верил в *истину* – не отводя, впрочем, глаз и от *фактов*. И ему, разумеется, хотелось, чтобы «землю» перестраивал ко всеобщему благу – «не насильник, а умный хозяин», о чём сказано в дописанных в окончании поэмы строках.

Не *насильник*... – это написано как раз в ту голодную годину, про которую в народе говорили:

В тридцать третьем году
Люди падали на ходу.

Бодрая, светлая концовка о будущей победе человеческого разума поэме «Птицы» не помогла: она долго пролежала в журнале и так и не была напечатана. Лишь послужила потом литератору-доносчику Н. Лесючевскому материалом для разоблачительного отзыва в *органы* – в ленинградское управление НКВД, где «шили» большое дело на писателей северной столицы. Выполняя задание чекистов, этот *скверноподданный* писал в своей статье, предназначенной для следственного дела: «В 1937 г. при полной, активной поддержке Горелова Заболоцкий пытался опубликовать в “Звезде” стихотворение “Птицы”». Это – несомненно, аллегорическое произведение. В нём рисуется (с мрачной физиологической детализацией) отвратительное кровавое пиршество птиц, пожирающих невинного голубка. Таким образом, “творчество” Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма».

В последней фразе трёхкратным повторением Лесючевский копирует стиль Сталина, – тот был большой любитель таким способом вколачивать в сознание масс, как гвоздь в бревно, какой-нибудь лозунг или же простую, как мычание, мысль...

Как заметил литературовед Е. А. Яблоков об этом доносе «сентиментального стукача», негодование Лесючевского могло быть куда сильнее, если бы он осознал, что анатомированию в поэме подвергнута не мёртвая птица, а *живая*...

* * *

В творчестве большого поэта, если внимательно разобраться, всё взаимосвязано, пронизано тонкими живыми нитями духовного и образного родства. Конечно же, имела свой отзвук и поэма «Птицы». Ровно через двадцать лет после неё Николай

Заболоцкий написал стихотворение «Сон» – о своём лагерном не-существовании, всей своей сутью отрицающем истинную человеческую жизнь. Впоследствии поэт утверждал, что видения «Сна» ему попросту однажды приснились, и оставалось только записать увиденное.

Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул белый свет
И очутился в местности безгласной.

Начальные строки невольно напоминают Дантово начало сошествия в круги ада – «Земную жизнь пройдя до половины...» (Позже мы ещё вернёмся и подробно поговорим об этом потрясающем стихотворении, а пока лишь отметим его сходство с тем, что было в поэме «Птицы».)

В новом стихотворении Заболоцкого опять, как в поэме «Птицы», возникает пара героев, один из которых стар, а другой млад. Причём *мальчик* появляется в самом окончании – и самым загадочным образом:

Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше материален, чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.

(«Сон», 1953)

По толкованию Евгения Яблокова в его статье «В поисках души. “Юбилейные” стихи Н. Заболоцкого начала 1950-х годов», этот «туманный» мальчик – «<...> конечно, “двойник” героя, сходного с дымом (наличие разновозрастных “двойников” подтверждает тезис об “инициационном” подтексте “Сна”). Отправляясь вдвоём ловить рыбу, они как бы уподобляются пародийным апостолам – “ловцам человеков”; однако ни что земное (= человеческое) их не интересует, так что беззаботный покой в безмолвном и “неодухотворённом” мире вряд ли может быть отождествлён с райским блаженством: если это и нирвана, то вполне “безблагодатная”».

Пожалуй, что этот мальчуган из стихотворения «Сон» – и, действительно, «двойник» героя, насколько двойником может быть ученик у старого учителя в поэме «Птицы», которые очень напоминают сына Николая и агронома Алексея Агафоновича в реальной жизни. Или же этот «двойник» – мальчик Коля, растворившийся во взрослом поэте Николае Заболоцком.

Не с самим ли собой – мальчиком, оставшимся в собственной памяти и похожим уже на туман, беседовал в потустороннем лагерном мире заключённый Николай Заболоцкий? «Масса пустяковин», о чём «болтал» мальчуган, наверное, частью воплотилась в слове – потом, когда незадолго до кончины поэт писал свои воспоминания о детстве «Ранние годы». А «озером» – виделась ему прожитая жизнь: в глубину его и закидывалась наудачу удочка...

Что же тогда оно – *нечто, долетевшее с земли*?

Да, конечно, это – земное: обычная жизнь, быт, с их суетою, бестолковостью... Но и, должно быть, другое, что очень трудно, а может, и до конца невозможно

определить словом – даже тому, кто сам это *нечто* пережил. Что-то неразъёмно-цельное, сложное, как и бывает всегда в живой жизни. Его нельзя отбросить насовсем, оно в самом тебе, оно и есть ты, – его только можно *отодвинуть*, в надежде на лучшие времена...

* * *

Напряжённая творческая жизнь, которую вёл молодой поэт в Ленинграде не оставляла ему времени ни на что иное. Связь с родительской семьёй почти прервалась. В 1926 году безвременно, не дожив до старости, умерла от тифа его мать, Лидия Андреевна. Старший её сын не смог проститься с ней. Отец, Алексей Агафонович, тяжело хворал; дочь Вера забрала его к себе в Вятку. «В начале 1928 года Заболоцкий ездил в Вятку навестить своих родных, – сообщается в книге Н. Н. Заболоцкого. – <...> У родных Николай Алексеевич пробыл недолго – недели две. Вероятно, это было его последнее свидание с больным отцом».

Когда в 1929 году вышла первая книга «Столбцы», поэт отправил её отцу. Алексей Агафонович, уже безнадежно больной, успел поддержать книгу в руках. Дарственная надпись была простой и сердечной: «Дорогому папе – благодарный сын. *Н. Заболоцкий*. 12 авг. 1929 г.».

Вскоре старый агроном скончался.

Остаётся добавить, что при жизни Николая Заболоцкого лишь восемь строк из его большой поэмы «Птицы» появились в печати – их привёл Н. Степанов в 1937 году в статье о новых стихах своего друга.

По смерти поэта первая публикация была в журнале «Москва» в августе 1968 года.

А полностью поэма «Птицы» вышла в свет только полвека спустя после её создания – в 1985 году.

Глава четвёртая УРЖУМСКИЙ РЕАЛИСТ

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ОТРОЧЕСТВЕ

Тема *посвящения* у Заболоцкого, как говорится, – *сквозная*.

В поэме «Птицы» учитель посвящает ученика – в жизни отец посвящал сына.

Так, Алексей Агафонович постепенно знакомил своего первенца Колю с миром природы, с наукой её познания, словно бы ненароком вводя сына в дело своей жизни. Точно так же, повзрослев, и сам Николай Алексеевич захотел в своё время передать нечто сокровенное, важное сыну Никите. Это естественное отцовское желание было в поэте гораздо острее, чем когда-то у его отца-агронома: ведь Заболоцкий в 1938 году попал в неволю и на целых восемь лет разлучился с семьёй. Его старшему, Никитушке, было в год ареста отца всего шесть лет...

В январе 1941 года Николай Заболоцкий пишет из лагеря к сыну, поздравляя его с днём рождения:

«Вот тебе уже 9 лет. Ты уже совсем большой, милый. Мне было 9 лет в 1912 году. В то время праздновали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Мы, дети, очень увлекались рассказами об этой войне. Летом мы целыми днями играли в войну: наделали себе из бумаги треуголок, из палок – сабель, пик, ружей, и храбро сражались с крапивой, которая изображала собой французов. В 9 лет я

отлично знал, кто такие были Наполеон, Кутузов, Барклай де Толли. Памятники Кутузову и Барклаю стоят около Казанского собора. Мама объяснит тебе – кто такие были эти люди.

Когда я хочу себе представить тебя, то вспоминаю себя девятилетним мальчиком. И это уже совсем не тот Никитка – маленький, которого я оставил в Ленинграде около 3-х лет назад. Придётся нам с тобой снова знакомиться, сынок».

Литературовед Игорь Лошилов замечает: «Слова из письма дают новый угол зрения на художественную задачу очерка, созданного в 1955 году, когда сыну исполнилось 23 года. В том письме отчётливо виден исток замысла, воплотившегося через много лет <...>»

И. Лошилов сравнил письмо 1941 года с тем, что рассказано в очерке о детских играх 1912 года: всё сходится, Заболоцкий лишь чуть подробнее развил тему. Новое «знакомство» тем более необходимо: страна испытала за небольшой отрезок времени величайшие перемены, безвозвратно унёсшие прошлую жизнь:

«Выведенная за скобки текста перспектива времён, совмещающая исторический и лично-биографический опыт (1812 – 1912 – 1941 – 1955), сообщает небольшому очерку художественный объём. Мир, окружавший автора в годы казанско-сернурско-уржумского детства, становится своего рода Атлантидой, навсегда исчезнувшей после революции и “великого перелома”, в окружении двух мировых войн».

Однако вернёмся на вятскую землю, в довоенный 1913 год.

«Уржум, ближайший уездный город, был в шестидесяти верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное в новом корпусе, построенном на средства местного земства – одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 г., десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: “Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!” – не без улыбки вспоминал Заболоцкий в очерке «Ранние годы». – И действительно, сначала всё шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам – русскому языку, Закону Божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидел ошибку, и задача решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия».

При всей его нерасположенности к разговорам о своём прошлом – о детстве, о родительском доме, о юности и молодости в столицах – в этом очерке поэт вдруг нараспашку открывает свою душу. Таких радостных, светлых страниц, блещущих всеми красками, всею полнотой жизни, больше не сыскать у Заболоцкого!..

«Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, – звуки, ещё никогда в жизни не слыханные мною! В городской сад с оркестром, а городские по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей!

А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы – все как одна! – на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины! <...>

И вот я – реалист».

После однообразной сельской жизни всё в Уржуме ему казалось великолепным, всё приводило в восторг. Училище казалось просторным, в светлых классах всё необходимое; новые друзья-товарищи – выдумщики на проказы. Отлично смотрелась черного сукна шинель с жёлтыми кантами и золотистыми пуговицами – а к ней ещё и фуражка с лаковым козырьком и блестящим гербом. Манил еженедельный городской базар на площади перед острогом, где торговали всем на свете и сновали домохозяйки с озабоченными и вдохновенными лицами. Особенно же привлекал театр, где ставил спектакли любительский драматический кружок.

Этот восторг первооткрытия остался в Заболоцком на всю жизнь так же свеж и ярок, как когда-то в отрочестве. Наверное, он потому-то и уходил от расспросов о прошлом, и хмурился, замыкаясь, что берёт в себе до поры до времени эти воспоминания как самое близкое сердцу и дорогое.

Поначалу мальчик, оторванный от семьи, видно, сильно тосковал по дому. Его устроили «на хлеба» к одной уржумской хозяйке по имени Таисия Алексеевна. В комнате ровесник, такой же ученик. «Нас кормят, нам стирают бельё, за нами приглядывают, и всё это стоит нашим отцам недёшево – по тринадцать рублей с брата в месяц. Наш надзиратель “Бобка”, а то и сам инспектор могут нагрязнуть к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф “Фурор”, а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девчонкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Всё как-то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы всё же попали, но это было полбеды».

Уездный город... казалось бы, что в нём может быть интересным и тем более необычным? Но для разгорающегося день ото дня поэтического воображения отрока, недавнего жителя села, это волшебный кладёзь новых знаний и впечатлений. Захолустный, покойный Уржум, ни чем в общем не знаменитый, крошечный в размерах громадной державы, сам того не ведая, бурно развивал в юном реалисте способности, заложенные от рождения, исподволь воспитывал и закалял характер. И главным для отрока Коли было, конечно, его реальное училище, которое он любил и которым гордился.

В Уржуме имелось ещё и городское мужское училище – а женская гимназия была одна-единственная. Естественно, мальчишеские школы соперничали между собой, добиваясь девичьего внимания. Реалисты надевали по праздникам голубую парадную шинель, и за это городские дразнили их «яичницей с луком». Никто не сомневался: завидуют! Ведь как кавалеры они без труда «забивают» городских.

Это «забивают» было не столь далеко от буквального смысла слова.

«Иной раз эти распри принимают серьёзный оборот, – не без удовольствия вспоминал Николай Алексеевич Заболоцкий в «Ранних годах». – В городе существует заброшенное Митрофаниевское кладбище – место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримому телеграфу передаётся весть: “Наших бьют!” Тогда все реалисты, наперекор всем установлениям и порядкам, устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обёрнутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная ребром на противника, действует как булава и может натворить немало бед. Почти всегда победителями выходили мы, реалисты, но кое-когда достаётся и нам, если мы проморгаем нужное время».

Сказано с хорошим знанием дела.

Митрофания – старую церковь и разросшийся вокруг неё живописный сад – Заболоцкий вспомнит позже, в дальневосточном лагере. В мае 1939 он писал в Уржум к жене, Екатерине Васильевне, куда она с детьми перебралась из Ленинграда после ареста мужа – там, рядом с его роднёй, всё же легче было выжить. Рассказывал, что остро представляет себе весну в городе детства и что воображает, как в Митрофаниевском саду будет хорошо гулять летом его мальчику и девочке...

А тогда, ещё до германской войны, он спешил по утрам в училище, щёлкал каблуками перед строгим инспектором Силянדרом, встречающим на лестнице учеников, старался, как и все, прошмыгнуть мимо зоркого ока этого педантичного немца, неумолимо требующего, чтобы бельё было свежим, а обувь начищенной до блеска. Потом общая молитва в актовом зале, перед огромным парадным, в золотой раме, портретом императора – с пением, с главой из Евангелия, которую читал жиденьким тенором их законоучитель, отец Михаил, и, наконец, совместное исполнение гимна «Боже, царя храни!». Лишь после всего этого дети «с облегчением» разбегаются по классам. Рутин, поднадоевший ритуал... но школа и учит прежде всего дисциплине и порядку.

Само же обучение было налажено превосходно. Недаром Заболоцкий запомнил по именам почти всех учителей, начиная с директора, хотя тот в младших классах не преподавал. Незаурядный математик и прекрасный шахматист, Михаил Фёдорович Богатырёв был статен, вальяжен, живописно седовлас, и малыши с замиранием наблюдали, как швейцар Василий, помогая директору снять пальто, почтительно величает его «вашим превосходительством».

Общей любовью реалистов стал учитель истории Владислав Павлович Спасский. Он был ещё молод и, в отличие от всех других учителей, носивших форменные сюртуки, надевал «гражданский» пиджак, «правда, с теми же лацканами и пуговицами». Принятыми учебниками он явно пренебрегал. «Основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах – уделом его была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский – человек самостоятельной мысли, и это обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был малоразговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим классным наставником с первого класса».

По воспоминаниям Михаила Касьянова, в реальном училище была неплохая библиотека. Владислав Павлович Спасский говорил о ней, что если бы произошла мировая катастрофа, вся земля погибла и остался бы один Уржум, то можно было бы восстановить всю культуру по содержанию книг этой библиотеки. А ведь в Уржуме была ещё и городская публичная библиотека, куда постоянно ходили реалисты и гимназистки.

Увлекательно вёл свой предмет учитель естествоведения. Кроме того, он был любитель посмеяться и накануне каникул уморительно читал ученикам ранние рассказы Чехова, сам при этом первым хохоча.

«Фёдор Логинович Логинов (на самом деле – Ларионов. – В. М.), учитель рисования, красавец мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах», – рассказывает Заболоцкий в очерке «Ранние годы».

Похоже, тут много личного: сам Николай Алексеевич с детства проявил способности и к рисованию, и к пению.

Любопытно, что рисование наряду с математикой считались в реальном училище самыми важными предметами. Причём обучали основательно, почти как художников: реалисты должны были владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. Живописью увлекались чуть ли не все, и в училище были свои художники-знаменитости. Класс для рисования располагался амфитеатром (так были устроены и все другие классы), был чист, светел, кругом копии античных статуй, и, самое главное, у каждого ученика имелся собственный мольберт. Немудрено, что Коля весьма отточил своё мастерство портретиста и карикатуриста (шаржами и шуточными рисунками Заболоцкий «баловался» и во взрослом возрасте).

Запомнился ему и великолепный гимнастический зал, оснащённый турником, кожаной кобылой, брусьями, канатами, шестами. «На праздниках “сокольской” гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трёхцветными поясами, и любоваться нашими выступлениями приходил весь город», – с явным удовольствием добавляет он.

Впоследствии, будучи уже студентом, Заболоцкий, давая пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, с гордостью отметил: «(...) ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги».

И это не «местный патриотизм», это вполне справедливо. Приехав в Уржум, я первым делом отправился в бывшее реальное училище. Его здание и через сто лет – одно из самых внушительных в городе, оно по-прежнему служит делу образования: теперь это гимназия. Красный кирпич, из которого оно сложено, потемнел, но не обветшал. Классы, что были прежде, конечно, давно перестроены, однако бывший рекреационный зал, с его высоченным потолком, поражает своими размерами. Да, с размахом построили уржумские купцы училище для своих потомков!..

Так уездные города учили и воспитывали для державы своих сыновей. В провинции к образованию относились, может быть, уважительнее, чем в российских столицах.

Как-то мне довелось побывать в Ельце, в старинной гимназии, где когда-то отроком учился Иван Алексеевич Бунин, привезённый отцом из далёкой орловской деревни. Он тоже обитал у хозяйки «на хлебах», и так же его забирал к себе в гостиницу отец, когда приезжал по делам в уездный город: гулял с сыном, угощал вкусными деликатесами. В доме, где жил Бунин, в тесных комнатках обычного елецкого особняка, теперь музей его имени. Неподаляку в сквере памятник – бронзовый Иван Бунин задумчиво сидит на скамье. Беззаботные летние девушки легкомысленно садятся ему на колени, обвивают рукой и, смеясь, фотографируются на память. – А вот в Уржуме памятника Заболоцкому нет. Конечно, Елец покрупнее Уржума (в своё время едва губернским городом не стал), а стало быть, побогаче. Но разве в этом дело? Дело просто – в памяти. Или, может, кому-то покажется, что Бунин и Заболоцкий по таланту несопоставимы? Это не так, ещё как сопоставимы. Но что говорить о райцентре Уржуме, когда не вспомнили о Заболоцком и в Петербурге-Ленинграде, где он долго жил до ареста. И в Москве, где ему – как великому русскому поэту – давно, казалось, пора бы воздвигнуть памятный монумент.

Разумеется, как и во всякой школе, в Уржумском реальном училище шло негласное противостояние между учениками и учителями. Отрочество мало расположено к соглашательству. Мир или война! Юношей, тех уже томят «взрослые» чувства, – и тогда вступает в полную силу поговорка: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Отрокам же надо, чтобы стал хорош и по хорошу, и по милу. Иначе вражда!..

Мальчишеских дурачеств было достаточно, – признаётся Заболоцкий в «Ранних годах», – но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно нелюбимых учителей.

Всем классом, дружно, как по уговору, ненавидели «французенку» – Елизавету Осиповну Вейль. «Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях старая дева, и во всех её манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у неё не было общего языка, она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на её уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать её хором: «А вотр сантэ!» («Будьте здоровы!») – В. М.)

Пашка Коршунов принёс в класс нюхательного табаку и в перемену, перед французским языком, покуда мы все развлекались в зале, рассыпал табак по партам, причём изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Всё шло по заведённому порядку, уже было выяснено, какое «ожордви» («сегодня». – В. М.) число и кто из учеников «сонтапсан» («отсутствует». – В. М.), как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

– А вотр сантэ, – сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот французенка чихнула во второй, в третий, в четвёртый раз.

– А вотр сантэ! А вотр сантэ! – отвечали мы.

И вдруг и справа, и слева послышались чиханья, сперва лёгкие и короткие, потом всё более ожесточённые и наконец превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слёзы ручьём текли по её лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлёбываясь:

– А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемуазель!

Кончилось дело тем, что французенка выбежала за дверь и Пашка Коршунов в одну минуту замёл все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали».

О дальнейшей судьбе учительницы Николай Алексеевич вспоминает лишь одно: «В первые дни революции, когда я учился в четвёртом классе, в квартире французенки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были “ни в зуб ногой”».

Зато «немку» – преподавательницу немецкого языка Эльзу Густавовну – в классе уважали. «В своём синем форменном платье, педантично-аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление».

Последнее признание, в первую очередь, относится к самому себе: Заболоцкий неплохо владел немецким – в подлиннике читал Гёте, одного из любимейших своих поэтов.

В классе не любили и ставили ни во что законоучителя отца Михаила. По общему мнению, это был великий путаник и жалкий неудачник. Окончил юридический факультет – а потом принял духовный сан. Был не виден собой, вечно недомогал и говорил бабьим тенорком. «Жена ему ежегодно рожала по очередному младенцу, и это тоже смешило нас». (Дети часто жестоки к слабым – закон стаи.) Как-то школь-

ные озорники прибили ему калоши гвоздями к полу – батюшка, надевая их, едва не растянулся и упал бы, если бы не швейцар Василий. «На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита и всем ставил или пятёрки, или единицы. Уважать его оснований не было».

Вятские краеведы установили: после 1918 года незадачливый отец Михаил стал расстригой и работал учителем русского языка в школе села Турек. (В то время большевики уничтожали *попов* как класс... а детей, видно, уже было в его семье немало, вот и бежал подальше из города в село, чтобы как-то их прокормить.)

Из одноклассников Коля сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. «Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными тёмными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу же сделавший большие успехи по этому предмету».

Тут же набросан и собственный портрет: «Сам же я был в детстве порядочный увалень, малоподвижный, застенчивый и втайне честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне в детстве: “Ты пошёл бы погулять, Коля!” – я неизменно отвечал ей: “Нет, я лучше посижу”. И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями».

По позднему признанию поэта, с Мишей Ивановым его сблизила противоположность темперамента при общем сходстве интересов: оба поклонялись искусству. «Наша дружба была верной и прочной за всё время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!»

Портрет тогдашнего Заболоцкого «со стороны» оставил Михаил Касьянов, с которым они сошлись чуть позже в реальном училище: оба сочиняли стихи: «В то время, когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым мальчиком, смиренной, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто берёт что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жестами, руками не махал, как мы, все остальные мальчишки, фразы произносил без страсти, но положительно, солидно. Страсть и оживление в спорах я увидел в нём уже позднее, в юности».

Пригладевшись потом к закадычному другу, Михаил Касьянов отметил характерную его особенность: «В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьёзностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то весёлое, а иногда и горькое озорство. Впоследствии оно проявилось, по-моему, более откровенно в некоторых стихотворениях его “Столбцов”».

Однако страсти в этом малоподвижном увальне и смиренной – ещё и в отрочестве – кипели нешуточные.

Достаточно сказать, что он всё время пребывал в состоянии влюблённости, чем сильно отличался от своего друга Миши Иванова, верного одному-единственному предмету воздыхания. Собственно, иного трудно было бы и ожидать от сочинителя, который, как уже известно, с малолетства читал стихи и понабрался от поэтов «всякой всячины».

У поэтов – оно только так и не иначе.

Как важно усмехнулся над собой – уже в наше время – другой поэт, Юрий Кузнецов:

И не одну любил я беззаветно,
Хотя и на лету – но глубоко.

Вряд ли стоит относить эту катастрофическую влюбчивость к одной лишь легкомысленности – ведь это ещё, кроме всего прочего, и невольное воздаяние красоте как таковой, в ком бы её и в какой «пропорции» не доводилось разглядеть.

Вот что, со своей невозмутимой шутливостью в тоне, вспоминает о себе отроке Николай Заболоцкий в очерке 1955 года:

«Оба мы были влюблены – постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша (Иванов. – В. М.) никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, – мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то ещё в Сернуре я был безнадежно влюблён в свою маленькую соседку Еню Баранову. Её полное имя было Евгения, но все, по домашней привычке, звали её почему-то Еня, а не Женя. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о её фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: “Я люблю вас, Еня!” Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побагровел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а её – в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, так недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за своё невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь – бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объяснить с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот краснощёкий реалистик, какие пламенные стихи посвящал он её красоте!»

Ничего из этих пылких отроческих сочинений, конечно, не сохранилось: Заболоцкий безо всякого сожаления уничтожал свои ранние стихи, не придавая им никакого значения и не желая выставлять кому бы то ни было то, что никак не могло быть совершенным.

Зато о юных своих «романах» поведал – как обычно, с лёгкой насмешливой улыбкой:

«Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, и среди них – курносыя и разбитная Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и не длинный, но деятельный роман. В начале немецкой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка – щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всём этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дёрнуть за ручку звонка, мы, да простит нам Господь Бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!»

У поэта влюбчивость не проходит с отрочеством – в юности она только усиливается. О ранних сердечных увлечениях Заболоцкого – то ли ещё в Уржуме, то ли в Москве, где он недолго жил после Уржума, да не удержался, – осталось ещё одно свидетельство.

...Декабрь 1921 года, Петроград, Николаю восемнадцать лет. Он пишет в Москву к самому близкому товарищу, Мише Касьянову. Послание довольно путано,

порой импульсивно, что в общем-то Заболоцкому было несвойственно, порой риторично – и явно писано под сильным влиянием настроения. Однако оно много говорит о его характере, о постоянно растущем в юноше художнике и ещё о том, как влюбчивость в нём, несмотря ни на что, постепенно преобразуется в способность любить.

«<...> Часто мне кажется, и давно уже, что наша жизнь до невозможного неинтересна была бы, если бы все мы были в своих поступках и словах вполне искренни. Человек есть до безобразия неинтересное существо, если он ни к чему не стремится и, следовательно, не настраивает себя на известный тон, соответствующий его цели. Когда я сплю, я противен. Когда я говорю с интересной женщиной – я, без всякого сознательного желания, перерождаюсь и всеми силами хочу показать себя не таким, какой я есть на самом деле. Глухарь, когда он токует, делается привлекательным.

При оценке жизненных явлений некоторые люди, по их словам, имеют “вполне выработанные” критерии, как-то: искренняя любовь, благородство, подлость и пр. Их суждения мне непонятны и смешны. Всякая устойчивость глубоко противна человеческой натуре, вечно разве только одно: стремление от человека. Это стремление проходит под лозунгом стремления к счастью. Нет, счастье не в человеке – оно где-то вне его, куда он, однако, и стремится.

В моей жизни было одно событие, когда я лишь один раз отходил от этого стремления. Это была моя любовь к Ире. Странно, Миша, что до сих пор мне иногда кажется, что я люблю её. Недавно я её видел во сне. Был какой-то хаос, поющая душа и питерское безлюдье. И я увидел её лицо и взгляд. И упав, я плакал, плакал без конца. Я не мог посмотреть на неё.

Мучительная боль проходит нескоро. Как-то странно всё это: вероятно, потому, что она не любила меня – оттого моё чувство иногда начинает просыпаться с необычайной болью.

Ах, какая она нежная, стройная, эта Ира...

Как я люблю её и как я ненавижу её. <...> Эх ты, Мишка, Мишка, упустили мы с тобой нашу Иру – нежную, ласковую, хорошую – ну, мне-то и бог не велел её трогать, а ты-то что, разиня?

Ах, как больно, Мишуня, ведь так и всё проходит – и всё и всё пройдёт... <...> И забудем мы нашу Иру, нашу Ирочку, Иру, Иру. И забудем мы всё, всё. Всё это и будет смерть».

(Речь тут – об уржумской гимназистке Ирине Степановой, предмете воздыханий Миши Касьянова. В своих не предназначавшихся для публикации воспоминаниях «Телега жизни» он пишет, как они с Ирой целовались на скамеечке «у Митрофанья» – «преимущественно в тёплое время года». Оказывается, и молчаливый Коля был к Ире равнодушен, просто не вставал на пути у друга. Через несколько лет и Миша, и Ира охладели к былому увлечению. Повзрослевший Касьянов не без улыбки вспоминал, как одно время они с Ирой собирались прочесть «Что делать?» Чернышевского: «Начали, но осилить не могли из-за удивительной нудности и скуки этого великого произведения».)

...А друг уржумского отрочества Миша Иванов кончил трагически.

Реальная жизнь уже скоро сломила хрупкого душой юношу.

Один из оболтусов в классе, в последние годы ученичества, соблазнил предмет его тайной любви, Нину Перельман, и бросил её. Неизменный же и молчаливый её поклонник, вспоминал Заболоцкий в «Ранних годах», сошёл с ума в Москве, куда поехал поступать в художественное училище. И через несколько лет умер в Уржуме, у своих родных.

СТИХИ КАК СОПУТНИКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Заканчивая то письмо, Николай признался Мише Касьянову:

– Я сегодня точно пьяненький.

Не обошлось, разумеется, без стихов – друзья, как водится, обменивались новыми сочинениями.

«Небесная Севилья» – не иначе! Вычурно, на чужой манер: что-то от Северянина, что-то от Ахматовой, что-то от Маяковского – в общем *седьмая вода на киселе* Серебряного века.

Стынет месяцево ворчанье
В небесной Севилье.
Я сегодня – профессор отчаянья –
Укрепился на звёздном шпиле.
И на самой нежной волынке
Вывожу ригурнель небесный,
И дрожат мои ботинки
На блестящей крыше звездной.

В небесной Севилье
Растворется рама
И выходит белая лилия,
Звёздная Дама,
Говорит: профессор, милый,
Я сегодня тоскую –
Кавалер мой, месяц стылый,
Променял меня на другую <...>.

Настроение, возможно, и своё – да образы и слова чужие...

Ещё не один год понадобится молодому стихотворцу, чтобы переплавить пережитое, передуманное, прочитанное в свои – заболоцкие – стихи.

В 1955-м жизнь уже прожита – точнее, почти прожита; всё, чему было суждено пройти, прошло; так и оставшаяся без фамилии *Ира* – напрочь забыта. Какие же стихи приходили к Николаю Заболоцкому в том самом 1955 году, когда он, медленно перемогая последствия хвори, писал свой автобиографический очерк «Ранние годы»?

Именно в этом году появилось его хрестоматийное стихотворение «Некрасивая девочка», в котором вопрос о *красоте* поставлен ребром. Сюжет прост: девочка, видом словно лягушонок, её уже сторонятся играющие дети – страшненькая! – а она совсем не замечает этого и живёт чужой радостью, как своей – и, ликуя и смеясь, счастлива.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!

Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть её черты нехороши
И нечем ей прельстить воображение, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движении.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Конечно, возможны придирки: не всякий прекрасный сосуд пуст, как и не во всяком неказистом сосуде мерцает огонь. (Да и само слово «мерцает» вообще-то значит — «меркнет», «гаснет».) Только к девочке из стихотворения всё это никак не относится: она душой безупречна.

Отклики на это стихотворение и его оценки, как тогдашние, так и последующие, были самыми противоречивыми, самыми полярными. Одни толкователи упрекали Заболоцкого в сентиментальности и дидактике, другие — восхищались его отзывчивостью и человечностью. Противопоставляя прекрасный *сосуд* внутреннему огню, или, иначе, красоту физическую — духовно-нравственной красоте, Заболоцкий словно бы спорит со всеми временами и, пуще всего, со своим веком и спрашивает: что же важнее — материя или душа? Не убоившись, он прошёл по самому лезвию риторики и дидактики, чуждых сути поэзии, и до предела, до крайности заострил свой вопрос. А ответа — не дал, переложил его тяжесть на читателя. Хотя, очевидно: его симпатии — на стороне «некрасивой девочки» — *души*.

Очевидно и другое: на закате жизни он, человек от природы увлекающийся, влюбчивый, сумел и в дурнушке разглядеть ту вечную красоту, которая присутствует в мире как бы сама по себе. Вспомним недавно приведённое письмо к М. Касьянову, написанное в восемнадцать лет, где он говорит о счастье, что оно «не в человеке», а «где-то вне его», куда человек стремится. Так и *красота* — она где-то вне человека, но она — есть, видимая *глазами сердца*, — и, лишь устремляясь к ней всей душой, человек обретает её в самом себе.

Разумеется, Николай Заболоцкий — не первый из поэтов, кто, по старинному говоря, *зрел сердечными очами* то, что не видят обычные люди. Так, Лев Толстой любовался своей некрасивой княжной Марьей Болконской, по её прекрасным глазам следя высокую красоту души. Так и Пушкин сразу же увидел в «любезной калмычке» из «кибитки кочевой» ту, что достойна любви не меньше, чем светская красавица. (Хотя, вероятнее всего, эта дикарка была хороша собой, просто принадлежала по крови к «красным девкам половецким».)

Словом, Николай Алексеевич Заболоцкий, прожив очень нелёгкую, полную испытаний жизнь, смотрел уже на мир глазами истинного мудреца.

Отроческая и юношеская влюбчивость, чаще всего увлечённая внешней привлекательностью, преобразилась в нём — он стал способен любить истинную красоту.

Тогда же, в 1955 году, был написан цикл «Осенние пейзажи» из трёх небольших стихотворений. Особенно замечательно второе восьмистишие — «Осеннее утро»:

Обрываются речи влюблённых,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с клёнов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, очень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.

Жизнь – уносится всё быстрее, и уже со свистом...

Пламя скорби – прощание с земной отгоревшей или же ещё не отгоревшей любовью, – хочешь не хочешь, а прощаться придётся со всем, что было дорого тебе на этом свете.

И, наконец, ещё одно, совершенное, чудесное стихотворение этого года – «Бегство в Египет»; оно явно говорит о спутнице его жизни – Екатерине Васильевне.

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелён
Иудейским поселенцем
В край далёкий привезён.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радостном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простёрла Иудея
Перед нами образ свой –

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, –

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремлённый на меня.

Сон, причудливая дремота больного... но какое близкое сердцу видение! У Заболоцкого, может быть, впервые, по крайней мере, в позднем творчестве появляется – хотя бы и смутно, далеко не так отчётливо, как в Святом Писании – образ евангельского младенца, образ Спасителя.

«Духи, ангелы и дети / На свирелях пели мне...» – таких светлых строк в его поэзии ещё не было...

Точно так же, наверное, пел Христу когда-то в храме чистый душой мальчик Коля. ...Да, позавидовал тогда в детстве, на Рождество, своему сверстнику Ване Мамаеву, награждённому за праведные труды бумажной иконкой Николая Чудотворца, – но, может быть, с мыслью: а разве я столь же ревностно не служил Иисусу?..

Ясные видения сна в конце искажаются бессознательным полубредом: *Иудея*, в предпоследней строфе, чудится спящему поэту весьма похожей на его собственную страну, с её жуткими современными реалиями – нищетой, злобой, нетерпимостью, рабским страхом и едва ощутимой, почти уже потусторонней памятью о Христе Спасителе: «Где ложилась на трущобу / Тень распятого в горах». Будто бы это он уже сам, а не младенец со святым семейством, вернулся из далёкого Египта – то есть из его детской счастливой жизни – в изуродованную режимом, обезверенную родную страну.

Долго шло восстановление после тяжёлой болезни. Два месяца в неподвижности, а потом надо было заново приучаться к движениям. Поэт с женой строго выполняли все предписания врачей и внимательно следили за течением болезни. Когда выздоравливающему разрешили принимать друзей, первым его навестил Евгений Шварц.

Спустя год Евгений Львович записал в дневнике: «Попал я к Заболоцким через несколько месяцев после этого несчастья. Николай Алексеевич ещё полёживал. Я начал разговор как ни в чём не бывало, чтобы не раздражать больного расспросами о здоровье, а он рассердился на меня за это легкомыслие. Не так должен был вести себя человек степенный, придя к степенному захворавшему человеку. Но я загладил свою ошибку. Потом поговорили мы о новостях литературных. И вдруг сказал Николай Алексеевич: “Так-то оно так, но наша жизнь уже кончена”. И я не испугался и не огорчился, а как будто услышал удар колокола. Напоминание, что, кроме жизни с её литературными новостями, есть ещё нечто, хоть печальное, но торжественное. <...> Николай Алексеевич решил встать к обеду. И тут произошло нечто, тронувшее меня куда живее, чем напоминание о смерти. Катерина Васи-

льевна вдруг одним движением опустилась к ногам мужа. Опустилась на колени и обула его. И с какой лёгкостью, с какой готовностью помочь ему. Я был поражён красотой, мягкостью и женственностью движения. Ну вот и всё».

Какая поразительная подробность! Бытовая вроде бы – но духовная по существу. Она без слов свидетельствует о том, что Заболоцкий не только видел и безошибочно чувствовал подлинную красоту в окружающем мире – он знал её и в личной жизни.

ГОТОВЯСЬ К ОТПЛЫТИЮ

Удивительно, но в «Ранних годах» Заболоцкий почти ни слова не говорит о своём призвании и деле всей жизни – о поэзии.

Про чтение, – а оно, несомненно, было запойным – вскользь, по случаю; точно так же – про сочинительство, которого наверняка было не меньше, чем книго-чейства.

И то и другое стало главным в его жизни, начиная с Сернура – и в Уржуме только возросло.

Правда, писал он свой очерк многие годы спустя отроческой и юношеской поры – а к тогдашним опусам своим был строг, как никто другой.

Ни строчкой давнишней не обольстился – потому впоследствии и сжигал ранние произведения. Пожалуй, будь его воля – не оставил бы ничего.

Благо, что-то небольшое осталось в памяти друзей и знакомых, уцелело в старых письмах. Конечно, ничего особенно интересного, самобытного в этих стихах нет, – Заболоцкий был совершенно прав в оценке своих ранних сочинений, – но они показывают, с чего он начинал, как мыслил – и, кроме того, невольно говорят о нём самом как человеке.

Екатерина Васильевна Заболоцкая впоследствии вспоминала, что поэт хранил до 1938 года самодельную книжицу под названием «Уржум», куда он в 1919 году переписал свои юношеские стихи: «Это была им самим сшитая книжечка размером поуже тетради, сантиметров около двух толщиной... Помнится, там было много стихотворений о природе – о берёзе в инее, о сверкающем снеге, о звёздном небе. Было там и стихотворение “На смерть Кошкина”, которое упоминается в “Ранних годах”».

Михаил Касьянов свидетельствует, что в пятнадцать лет Николай сочинил шутиливую поэму «Уржумиада» про жизнь в родном городке, в которой упоминались и сам Миша, и общие их друзья: Борис Польнер, Николай Сбоев, а также знакомые гимназистки Нюра Громова, в которую пылко и безответно был влюблён Миша Касьянов, и Шурочка Шестопёрова. От поэмы осталось лишь шесть строк, посвящённых Коле Сбоеву, любителю патриархальщины:

Прохожий этот, так и знай, –
Философ Сбоев Николай.
Он отрицает всю культуру:
Американские замки,
В аптеках разную микстуру,
Пробирки, склянки, порошки.

По этому отрывку трудно о чём-либо судить, хотя заметно: будущий поэт, а покуда уржумский реалист, был хорошо знаком с «бытовыми» ироническими поэмами

Пушкина и Лермонтова, сочинёнными ими также по молодости для приятельского круга – от избытка жизни и забавы ради.

Но вот совсем другое – и уже интересное.

В письме домой Николай набросал восемь строк для младшего брата Алёши:

Здравствуй, Лелюха,
Жареный ватруха!
Как ты поживаешь?
Из ружья стреляешь?
Я твоё письмо получил,
Чёрным квасом намочил.
Прощай, Лелюха!
Твой брат Колюха.

Казалось бы, куда как непритязательно – но до чего же естественно и непринуждённо пишет *Колюха*, как хорошо знает и чувствует живую русскую речь, с её игровыми перевёртышами женского рода на мужской («Жареный ватруха»).

И ещё одно стихотворение, посвящённое малолетней сестрёнке Наташе:

«На сундуке, на горш^оке», –
Говорит Наташа.
Как хотите, понимайте –
Это воля ваша.

И закрывши «гла^зами»,
Водит нас Наташа.
Как хотите, понимайте –
Это воля ваша.

«Старая и новая», –
Говорит Наташа.
Как хотите, понимайте –
Это воля ваша.

Прихотливые ударения в детских словах Наташи изначально свойственны опять-таки народным русским говорам, – и это тонко почувствовал юноша Заболоцкий. Недаром потом он, взрослым, с удовольствием и без особого труда писал стихи для мальчиков и девочек в детских журналах Питера.

Кстати, строка «Старая и новая» в последней строфе касается *власти*: в родительском доме всюю обсуждали, какая власть лучше – прежняя, царская, или новая, советская? Лишнее свидетельство того, какое незначительное место смолodu занимала *политика* в душе Заболоцкого: над *властью* – устами ребёнка – можно было лишь слегка позабавиться. По-настоящему его волновала только поэзия.

Если изыски и красоты поэтов Серебряного века «дарили» его литературщиной, то живая обыденная речь учила истинному чувству русского слова.

О круге чтения подрастающего уржумского реалиста свидетельств крайне мало. Одно из самых важных принадлежит другу юности Михаилу Касьянову.

«Октябрьская революция дошла до нашего города в конце ноября (по старому стилю). Учебный 1916/1917 год закончился, по правде говоря, кое-как. Осенью мы снова собрались в реальном. После Нового года в Уржум пришла книжка какого-то

журнала, в которой были напечатаны “Двенадцать” Блока, его же “Скифы” и одно стихотворение Андрея Белого. <...>

Николай вразумил меня относительно чеканной краткости и эмоциональной насыщенности стихов Анны Ахматовой, которые он очень любил. Бальмонта и Игоря Северянина мы к 1919 году уже преодолели. Маяковского мы тогда ещё знали мало. Только к лету 1920 года до Уржума дошла книжка “Всё сочинённое Владимиром Маяковским”. А до этого нам становились известны лишь отдельные стихи и строки Маяковского. Их привозили из столиц приезжавшие на побывку студенты. Николай относился к Маяковскому сдержанно, хотя иногда и писал стихи, явно звучавшие в тональности этого поэта <...>.

В начале 1920 года Николай написал своего “Лоцмана”, стихотворение, которое он очень любил и считал своим большим и серьёзным достижением.

...Я гордый лоцман, готовлюсь к отплытию,
Готовлюсь к отплытию к другим берегам.
Мне ветер рифмой нахально свистнет,
Окрасит дали полуночный фрегат.
Вплыву и гордо под купол жизни
Шепну богу: “Здравствуй, брат!”

Стихи были характерны для нашего молодого задора. С этим настроением мы вступали в жизнь и на меньшее, чем на панибратские отношения с богом, не соглашались».

Задор, конечно, похвальное дело, только «лоцманы» выводят корабли из гавани, а к «другим берегам» ведут капитаны. «Вплыву» – темно по смыслу... Вероятно, молодой автор, житель сухопутного Уржума, немного напутал в морской терминологии или же Михаил Касьянов ненароком запамятовал что-то в стихотворении. Однако в этих неказистых строках всё-таки передано то волнение, которое охватывает юношу перед будущей дальней дорогой. Понятно, эта дорога – творчество, полёт вдохновения, поэзия.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ГОРОД ДЕТСТВА

Едва пролетел первый год в Уржуме – время восторженных открытий, новых знакомств и дружб, – как началась *немецкая война*. Отроку Коле было в 1914 году одиннадцать лет и учился он во втором классе. От вятского края война была далеко и почти никак не ощущалась. Но однажды в реальное училище пришли недавние выпускники, а ныне молодые прапорщики. Они отправлялись на фронт и заглянули попрощаться с учителями. В защитных куртках и ремнях, в погонах, с саблями на боку, новобранцы гляделись настоящими воинами, и мальчишки мучительно завидовали будущим героям. Однако вскоре разнёсся слух: одного из тех, кто приходил в училище, убили. В памяти Коли осталась лишь его фамилия – Кошкин.

«Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и всё реальное училище хоронило его на городском кладбище, – пишет он в своём очерке. – По этому поводу я написал весьма патриотическое стихотворение “На смерть Кошкина” и долгое время считал его образцом изящной словесности».

Собственно, «Ранние годы» и заканчиваются германской войной: Россия вступала в новый этап своей истории, вскоре обернувшейся крахом империи. Заболоцкий описал только самое начало этой грядущих перемен:

«Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале всё это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперёд, но и назад, и даже далеко назад, – игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые всё чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, нисколько не похожее на это безмятежное передвигание флажков в глубине уржумского захолустья».

«Страшное и беспощадное» постепенно приближалось и к Уржуму.

В те несколько лет до Октябрьской революции 1917 года тут шла ещё обычная жизнь. Николай учился, сочинял, много читал (в городе было «две приличные библиотеки»), на вечерах в реальном училище или в гостях у друзей пел под гитару и даже исполнил главную роль в оперетте под странным названием «Иванов Павел». Этот музыкальный спектакль устроили в доме Польшеров, где обитал «на хлебах» его друг Миша Касьянов. Другой спектакль поставил учитель рисования Ларионов в реальном училище: в «Ревизоре» Коля сыграл роль зрителя училищ Хлопова. (Так мало-помалу он набирался опыта держать себя на сцене – потом, в начале литературной жизни в Петрограде, это ему весьма пригодилось.) «Ревизор» имел такой успех, что постановку через некоторое время перенесли на сцену городского самодеятельного театра «Аудитория», где всякий раз публики было много.

После февральской революции 1917 года и падения царской власти жизнь в городе стала оживлённей и беспокойней. Первого мая по главной улице прошла такая большая демонстрация, что Михаил Касьянов, вспоминая её, впоследствии писал: «Никак нельзя было поверить, что в Уржуме живёт столько народа. Наверное, все окрестные деревни пришли в город <...>».

В реальном училище образовался «Союз учащихся», благодаря свободе получивший право в лице своих представителей посещать «святая святых – заседания педагогического совета». В училище стали устраивать «субботники» – приуроченные к субботе вечера музыки и художественного чтения. Николай Заболоцкий тут же ввёл в репертуар чтение иронических стихов и с особым успехом декламировал непревзойдённого остроумца Алексея Константиновича Толстого:

Верь мне, доктор (кроме шутки!), –
Говорил раз пономарь, –
От яиц крутых в желудке
Образуется янтарь!

«Здорово выходило у Николая: “Проглотил пятьсот яиц” с большим таким и очень убедительным “о”, – вспоминал Михаил Касьянов. – Михаил Быков (председатель «Союза учащихся». – В. М.) пытался приучить публику даже к Маяковскому и для этого, чтобы напугать буржуев, прочёл стихотворение “Вот так я сделался собакой”».

Немецкая война сменилась гражданской. Пояса пришлось подтянуть, и молодые реалисты на каникулах устраивались на службу, чтобы подработать денег. Миша Касьянов летом 1918 года стал делопроизводителем, его примеру последовал и Коля Заболоцкий.

Осенью, когда вновь собрались на учёбу, приятели встретились.

«В клубах табачного, в основном махорочного, дыма мы с Николаем читали друг другу свои стихи, критиковали их, осуждали, восторгались и снова осуждали, – вспоминал Михаил Касьянов. – Из посвящённого мне стихотворения Николая помню:

...В темнице закат золотит решётки.
Шумит прибой, и кто-то стонет.
И где-то кто-то кого-то хоронит,
И усталый сапожник набивает колодки.

А человек паладин,
Точно, точно тиран Сиракузский,
С улыбкой презрительной, иронически узкой
Совершенно один, совершенно один.

Мне это стихотворение очень понравилось, особенно последние четыре строки. Оно накидывало на меня романтический плащ. Но Николай мог быть иногда и коварным другом. Нельзя было распознать, когда он говорит серьёзно и когда посмеивается над тем, кому посвящает свои творения».

Заметим, умение вышучивать что-либо или кого-либо с невозмутимо серьёзным видом – сохранилось у Заболоцкого на всю жизнь, со временем сделавшись виртуозным. Скрытой или полускрытой иронией, а порой и самоиронией он наделял и устную речь, и свои стихи.

Михаил Касьянов в «Телеге жизни» пишет о друге Коле, что в том всегда была заметна «работа мысли». И замечает: «В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьёзностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то весёлое, а иногда и горькое озорство. Он, показывая перстом в небеса, любил произносить: “Высшим чуем чуй, поэт!”»...

А первая строка этого, казалось бы, умозрительного стихотворения была связана с одним недавним случаем из жизни Николая. Вот как описывает это происшествие его сын и биограф Никита Николаевич:

«Летом 1918 года во время каникул Николай Заболоцкий поступил на работу секретарём сельсовета в одном из сёл в окрестностях Уржума. Вокруг города шныряли многочисленные банды, для борьбы с которыми в Уржум были направлены отряды латышских стрелков. Однажды бандитам удалось ограбить уржумское казначейство и бежать по направлению к Казани. В погоне за одним из них латышские стрелки попали в село, где служил Николай, и стали допрашивать работников сельсовета. Оказалось, что молодой секретарь, действительно, видел преследуемого, но не знал, конечно, что его следует задержать или сообщить о нём в город. В результате Николай был сам задержан и отправлен в уржумскую тюрьму. Вообще, латышские стрелки зверствовали в городе хуже всяких банд. В центр и, кажется, самому Кирову, земляку уржумцев, стали поступать многочисленные жалобы населения. Для их проверки была прислана специальная комиссия, после чего стрелки-чекисты были выведены из Уржума, а арестованные ими – освобождены. Так что в тюрьме Николай пробыл недолго. Но появилась строка о решётках, которые золотит заходящее солнце, а в семье долго вспоминали, как Лидия Андреевна носила передачи сыну».

Летом 1919 года Николай снова устроился на службу, теперь уже в городе. Армия Колчака прорывалась к Уржуму, и всем учреждениям было приказано перебраться в село Кичму. В глазах Михаила Касьянова, ставшего свидетелем этой эвакуации, запечатлелась живописная картина. По главной улице тащится обоз из трёх-четырёх крестьянских телег, гружёных тюками с бумагами и канцелярским инвентарём. На одной из подвод плачущая машинистка. За телегами пешком шагают служащие, и среди них его друг-поэт Коля. С виду, как всегда, невозмутим, важен и решителен.

«Не помню теперь, в каком таком серьёзном учреждении работал тогда Николай, – вероятно, в самом уисполкоме. Впрочем, вскоре на ближайшем к нам участке фронта наступило улучшение. Колчаковские части были отброшены. Через полторы-две недели положение выровнялось, и Николай, всё такой же важный, как победитель вернулся в Уржум».

Существенную подробность о настроениях молодого поэта во времена Гражданской войны сообщил Никита Заболоцкий: «Много лет спустя Николай Алексеевич признался жене, что сочувствовал тогда белому движению и подумывал, не вступить ли ему в армию Колчака. Но, видимо, решил, что слишком молод, да и не в том его судьба».

Стало быть, Заболоцкого *политика* всё же волновала и тревожила – даже смолду. Однако он не позволил, чтобы эта мутная стихия захватила его сознание. Душа безвозвратно принадлежала стихам, а поэзии место – *над схваткой*. Злоба дня – дело временное, стоит ли подчиняться временному?..

Он всё яснее осознавал: по окончании реального училища, – впрочем, теперь оно называлось «единой трудовой школой», – надо уезжать в столицу. Учиться дальше, набираясь ума-разума, крепнуть в мастерстве – и, наконец, сказать в поэзии своё собственное слово. Без этого не бывает настоящих поэтов. Уездный город был уже тесен, как старая одежда, из которой вырос.

Прощальный взгляд на родной город в очерке «Ранние годы» – уже не из отроческой его поры, а из 1955 года. В этом взгляде не осталось ничего от того первоначального восторга, который некогда ощутил мальчик, покинувший своё скромное село Сернур. От далёк от *лирики* – отфокусирован, отчётлив, как дагеротипный снимок, и разве что сдобрен внутренней добродушной иронией:

«Маленький захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В моё время это был обычный мещанский городок, окружённый морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в нём два мизерных заводика – кожевенный и спирто-водочный, в семи верстах – пристань на судоходной Вятке. Отцы города – местное купечество – развлекались в Обществе трезвости, своеобразном городском клубе. Было пять-шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названием “Аудитория”, земская управа, воинское присутствие, номера Потапова и ещё кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, в перчатках и при шпаге. Существовала пожарная команда с её выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать всё это храброе воинство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало “на караул”, и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговков, шумя и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями».

И ещё:

«Большим воскресным событием был еженедельный базар на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и всё то, что можно было вывезти из деревни. (...) Бойко работала “монополька”. Начиная с полудня вокруг неё лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережжённого спирта, песнями и руганью. Не отставало от “монопольки” и Общество трезвости. По крутым его ступенькам

посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью городского могли подняться на собственные конечности».

Бывший уржумский реалист вполне реально смотрел на вещи...

В 1955-м его жизнь – и он, конечно, понимал это – была на излёте. Тяжкая сердечная хворь не оставляла особых надежд. Каждый человек перед земным концом задумывается о Боге – неверующие не исключение. Не потому ли и Заболоцкий в глазах жены, без сна и отдыха сидящей у его постели, вдруг разглядел нечто ангельское. Что мерещилось ему в полубреду ночных видений? Возможно, что-то подобное тому, что описано им в стихотворении «Бегство в Египет». А может, сюжет, схожий с евангельским, был просто игрой воображения? Поэт ничего не пояснил – да это и не очень важно. Глаза подруги, его ангела-хранителя по жизни, – вот что было важнее всего.

После того, что открыла ему болезнь, Николай Заболоцкий не мог не вспомнить в очерке о детстве того, что связывало его с православной верой, с Богом, с церковью. Лирика в этих церковных воспоминаниях смешалась с прозой жизни. Но ничего надумывать сверх того, что было, он, разумеется, не стал. И рассказал точно и правдиво, а где и с улыбкой о своём религиозном «опыте».

«Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках – в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах, и притом на виду у инспектора, удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полутёмной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и, когда девичьи голоса пели “Слава в вышних Богу” или “Свете тихий”, слёзы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в негнушиеся стихари, двое или трое из нас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, помогали в алтаре и потихоньку попивали “теплоту” – разведённое в тёплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли ещё и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства».

Весь этот короткий автобиографический очерк Заболоцкого – просто чудесен по ясности и точности слога, по своей музыке. Недаром филолог Наталья Корниенко назвала «Ранние годы» «кристально чистым по пушкинскому звуку» и пришла к выводу, что очерк выделяется «на фоне образов детства, как его писали современники поэта».

В послереволюционные годы Николай увлёкся музыкальными сборищами, незамысловатыми спектаклями в театре «Аудитория», где однажды поставили даже оперу – «Аиду». Артисты пели под сопровождение одного рояля, но это никого не смущало – своей собственной оперой Уржум законно гордился! В то время в город, спасаясь от голода, хлынули из российских столиц артисты и художники – и нашли здесь, особенно среди старшеклассников, всеобщие любовь и поклонение.

А сам *гордый лоцман* уже всю готовился по окончании единой трудовой школы – к *отплытию...*

*Глава пятая***МОСКВА БЬЁТ С НОСКА...****ТЁПЛЫЙ ПЕРЕУЛОК**

Где ж ещё и учиться, как не в столице!..

Весь 1919 год шестнадцатилетние реалисты Коля и Миша примеривались к тому, что по окончании школы они уедут в Москву. Желание – дело одно, а действительность – совсем другое. В стране бушевала Гражданская война, косили народ эпидемии, голод, – и все эти беды вплотную подступали к Уржуму. Из Москвы-то и бежали на окраины, в небольшие города и сёла, чтобы выжить, подкормиться, переждать худые времена. «Был 1919 год – самый чумный, самый чёрный, самый смертный из всех тех годов Москвы», – писала Марина Цветаева об этом времени. Юным уржумцам надо было дожидаться, когда столичная жизнь хоть немного наладится, иначе было немудрено сгинуть почём зря. Благо, до завершения среднего образования им оставался ещё год.

Правда, учёба уже не очень-то занимала друзей-сочинителей: они всюю окунулись в то, что можно было бы назвать, за неимением других образцов, культурной жизнью Уржума. Была она столь же разнообразной, сколь и суматошной. Городок, по мнению Михаила Касьянова, вполне отражал собою бурную эпоху, переживаемую страной.

«Известия с фронтов, то тревожные, то победные, экспедиции за хлебом, кулацкие восстания в уезде, красный террор... На этом фоне вспоминается один богемный дом Уржума, дом учительницы музыки и ревнительницы искусств Лидии Евгеньевны Шеховцовой. У неё бывали разные люди: и уездные власти, и артисты, и реалисты. Хозяйке было за сорок, и она любила окружать себя молодёжью. В её доме бывало шумно и весело. Меня ввёл туда Гриша Куклин, который под руководством этой учительницы занимался мелодекламацией. Коронным номером Гриши в этой области было стихотворение:

Мне вчера сказала Карменсита:
“Я хочу мантилью в три дуката,
Чтоб была нарядна и богата
И савойским кружевом обшита” и т.д.».

На этих изысканных сборищах Николай пелал «молодым баском» известный романс о трёх юных пажах, навеки покидающих «свой берег родной», – весьма возможно, ощущая при этом, что вот скоро им самим с товарищем Мишей суждено попрощаться с берегами Уржумки и Вятки. Особенно выразительно у него выходили последние строки:

Кто любит свою королеву,
Тот молча идёт умирать.

Друг Миша тоже неплохо пел эту песенку, только считал, что королевы у них разные. В отличие от простодушного приятеля Николай чуял в словах и в стихах далеко не один буквальный смысл – и, вполне вероятно, под «королевой» подразумевал ещё и музу.

«Вторым, уже не богемным, домом, где бывали часто Николай и я, была квартира приехавших в Уржум “на подкормку” двух подруг учительниц – Нины Алексан-

дровны Руфиной и Екатерины Сергеевны Левицкой, – вспоминал Михаил Касьянов. – Нина Александровна преподавала литературу в реальном и вела класс, где обучался Николай. Екатерина Сергеевна работала учительницей естествознания в уржумском высшем начальном училище. Нина Александровна была худенькой девушкой с лучистыми синими глазами, по наружности похожая на ангела, точнее на Элоа, рождённую из слезы Христа. В обращении она была проста и вместе с тем обаятельна. Предмет свой она вела вдохновенно и с большим знанием дела. <...>

В гости к Нине Александровне и Екатерине Сергеевне мы всегда приходили вдвоём с Николаем, читали свои стихи или сообщали, говоря высоким стилем, о своих творческих планах. Мы выслушивали и принимали (иногда и не принимали) советы, которые нам давали обе эти милые девушки».

Конечно же, учительки убеждали даровитых реалистов, что тем нужно совершенствоваться в образовании – и непременно в Москве. Весной 1920 года девушки вернулись в столицу и напоследок оставили свой адрес, пообещав, что обязательно подыщут им жильё, когда парни приедут. Оба – и Коля, и Миша – решили поступать на историко-филологический факультет Московского университета.

С начала выпускного года друзья уже запасались командировками, характеристиками, сушили сухари. Помощи от своих домашних не ждали: в семьях кое-как сводили концы с концами, где им содержать в Москве студентов! У Николая отец перенёс тиф, ослабел, работать, как прежде, не мог – а младших детей надо было как-то поднимать...

«К лету 1920 года у нас всё было готово, – пишет Касьянов. – Ранним июльским утром я с котомкой за плечами отправился из города в Шурму, чтобы перед отъездом повидаться с родными. На мосту через Уржумку я встретил гуляющего Владислава Павловича Спасского, нашего учителя. “Здравствуйте, Касьянов! Куда вы?” Я объяснил ему наши намерения: “Едем с Заболотским в Москву поступать на историко-филологический факультет”. Вместо ожидаемого мною одобрения реакция Владислава Павловича была совсем другой. Он вдруг разволновался: “Не делайте этой глупости. Я сам всю жизнь жалел, что пошёл по такому пути и стал историком, да ещё педагогом. Идите в какой-нибудь технический институт, в крайнем случае на медицинский факультет”.

С этим прощальным напутствием любимого учителя мы и отправились “под купол жизни”».

...Многие годы спустя, в 1959-м, Михаил Иванович Касьянов, фронтовик, заслуженный врач, отозвался на просьбу Екатерины Васильевны Заболоцкой и рассказал всё, что вспомнил о юности поэта. А потом, будучи уже на пенсии, написал книгу собственных мемуаров, назвав её пушкинскими словами – «Телега жизни». Издавать книгу отнюдь не собирался, как никогда в жизни не стремился печатать свои стихи. Литературовед Игорь Ложилов, прочитав рукопись, заметил: «<...> специфика жизненного материала и своеобразный стилистический “кураж” свидетельствуют о том, что мемуарист трудился ради “удовольствия от письма”, от воспоминаний о прошедших годах. Читателями “Телеги” автор предполагал, вероятно, круг близких родственников и друзей: более “для пользы и увеселения” внуков, нежели Человечеству».

Если бы не этот верный друг Заболоцкого, мы бы вряд ли узнали, как прошёл тот московский, 1920 года, короткий по времени, отрезок жизни поэта. По крайней мере, никто другой не представил бы нам это в таких живых и ярких подробностях.

Вот как они – поутру своего студенчества – садились в *телегу жизни*:

«Когда мы с Николаем Заболотским решили поехать в Москву, к нам присоединился третий компаньон – Аркашка Жмакин (Аркадий Николаевич). Он собирался

поступать в Москве в какое-то высшее техническое учебное заведение. Я сел на пароход в Шурме и встретился с Николаем и Аркадием в Цепочкине. Мы поехали до Котельнича, где внедрились в поезд. Посадка была ужасной. Помятые и почти раздавленные мы очутились в тамбуре набитого до краёв и больше пассажирского поезда. Потом нам удалось попасть в коридорчик около уборной. Там и ютились с нашими тремя большими мешками сухарей и другими более мелкими пожитками. Тащились от Котельнича до Москвы что-то около четырёх суток в жаре, духоте и тесноте. Как-то ночью у нас стащили один из мешков с сухарями, что резко уменьшило наши ресурсы и сказалось впоследствии на рационе.

Наконец мы прибыли в столицу и вышли на Каланчёвскую площадь. В письме Нины Александровны, полученном перед нашим отъездом из Уржума, было изъяснено, что она и Екатерина Сергеевна живут в одном из переулков на Пречистенке и что туда идёт от Каланчёвки трамвай № 17. Однако сесть на этот вид транспорта с нашими вещичками нечего было и думать. Пришлось идти пешком. После длительного хождения трое пилигримов добрались до земли обетованной. Это был Штатный переулок. Наши покровительницы, к счастью, были дома. Оказалось, что они уже подыскиали нам жильё. Знакомая им женщина сдавала одну из своих двух или трёх комнат с тем, чтобы её обеспечили на зиму топливом. Мы дали такое твёрдое обещание и в тот же день поселились на новом месте в Тёплом переулке.

Обещание не было обманом. Дело в том, что наши знакомые сделали для нас ещё одно доброе дело: они включили нас в список какого-то учреждения на заготовку дров. Скоро все мы трое отправились в компании с другими такими же никчёмными лесорубами в какой-то подмосковный лес и там заготовили в течение недели шесть кубометров дров. Из этого количества мы должны были получить половину. Следует отметить, что наших дровишек мы так-таки никогда и не получили. В результате мы обманули нашу хозяйку, но совершенно не были повинны в этом.

Приехали мы в Москву задолго, примерно за месяц до экзаменов, довольно быстро съели почти все наши запасы и сели на голодный паёк. «...» Дела наши были совсем неважными».

Компаньон Жмакин быстро сошёл с круга: месяца через полтора-два друзья проводили его в Уржум, так толком и не поняв, поступил ли куда Аркашка, успел ли поучиться?.. Скорее всего уехал из-за голодухи. Николая и Михаила на историко-филологический факультет приняли – но кормить не обещали. Филологам и продовольственные карточки-то не отоваривали. Выход был один – идти на медицинский факультет: студенты-медики были «милитаризованы» и получали «колоссальный паёк» – по фунту хлеба ежедневно. А что если учиться сразу на двух факультетах? – подумали ребята. – День отдавать медицине, а вечерами заниматься литературой!.. Конечно, за двумя зайцами погонишься... Но другого не оставалось: жить-то как-то надо.

В Лепёхинском общежитии для студентов друзья сдали экзамены и были приняты на первый курс. Вскоре выяснилось: с пайком строго, выдают лишь тем, кто посещает все практические занятия и вовремя сдаёт зачёты. Трудов на весь день, и на литературу времени не остаётся.

Хозяйка же, что осталась без дров, смотрела волчицей, гнала с квартиры. Но с жильём вдруг повезло. В том же Тёплом переулке друзей присмотрела для своей нужды семейная пара торговцев мануфактурой. Держатели лавки боялись, что их уплотнят, а затем и оттяпают часть просторной квартиры – и заблаговременно побеспокоились: предложили студентам комнату на постой. Топлива с них уже не требовали, зная про дровяную историю. «Иногда по ночам мы с Николаем под

предводительством самого хозяина выходили на улицу ломать деревянные заборы, – вспоминал потом Касьянов. – Словом, как-то отапливались, но, несмотря на название переулка (Тёплый), в нашей комнате да и во всей квартире не было особенно тепло».

Жизнь пошла заведённым чередом. Утром шагали в университет; по дороге заходили в советскую чайную в Хамовническом переулке. Там имелся бесплатный кипяток в большом чайнике, который можно было подкрасить заваренной морковкой из другого чайника поменьше, и ко всему этому давали немного «повидлы» «Хлеб, конечно, свой; а, как известно, “хлеб свой, так хоть и к попу на постой”, – вспоминал Михаил Касьянов. – Из чайной мы шли в анатомический театр, где занимались остеологией. До миологии Николай, кажется, уже не дошёл».

Медицина, конечно, Николая нимало не занимала – сгодилась разве что для шуточных стихов. Ещё в сентябре он сочинил гимн студента медика, живописавший их с Мишкой жизнь, и песней подбадривал себя по дороге:

Утром из чайной,
Рано чуть свет,
Зайдёшь не случайно
В университет.

Не бог весть что, но зато от припева текли слюнки:

Торты, и сдобные хлебы,
Сайки, баранки, какао.
Эй, подтянись потуже,
Будь молодцом!

Первые две строки припева являлись плагиатом, поясняет Касьянов. На дверях хамовнической чайной сохранились жестяные вывески с указанием на наличие в бывшей тут когда-то булочной этих мифических в 1920 году продуктов. Призыв же к подтягиванию животов «плагиатом отнюдь не являлся».

В аудитории сонной
Чувства не лгут –
На Малой Бронной
Хлеб выдают.
На Малую Бронную
Сбегать не грех,
Очередь там небольшая –
Шестьсот человек.
Улица Остоженка,
Пречистенский бульвар!
Все галоши
О вас изорвал.

Сапоги Николая были, действительно, того... отвалились подмётки. И, хотя той осенью в Москве стояла сухая солнечная погода, молодой поэт «важно вышагивал в сапогах с надетыми на них галошами».

Заметим: несмотря на все передраги, семнадцатилетний Николай нисколько не утратил бодрости духа и своей невозмутимой важности.

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ И ДАЛЕЕ ПО КУРСУ

В автобиографии 1948 года Николай Алексеевич Заболоцкий написал о своей юности в Москве, а затем и в Петрограде всего несколько строк. Поведал, что существование в провинциальном городке его мало устраивало, и потому он рвался в центр, к живой жизни, к искусству. И что желание сделаться писателем окрепло в нём лет с пятнадцати.

«Весной 1920 года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на первый курс историко-филологического факультета Первого Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил в педагогический институт им. Герцена по отделению языка и литературы общественно-экономического факультета. Педагогом я быть не собирался и хотел лишь получить литературное образование, необходимое для писательской работы. Жил в студенческом общежитии. Много писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса не находил. <...>

В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объёмистая тетрадь плохих стихов, моё имущество легко укладывалось в маленькую корзинку».

В этих словах вместились целых шесть лет жизни – и каких! Исключительно редких по накалу постижения мира, искусства, литературы – и громадных по объёму той внутренней работы, которую он проделал в поисках самого себя.

И всё начиналось в Москве, которая, несмотря на трудности быта, много дала для его становления как поэта, для самовоспитания и закалки духа.

В Москве он пробыл всего-то около года, зато сполна ощутил живую литературную жизнь – в том неповторимом размахе, который принесла в неё революция.

Марине Цветаевой чудилось, что в столице было тогда – «миллиард поэтов» и чуть ли не каждый день появляется новое литературное течение. «Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле чёрные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб-студия, – театр и танец пожирают всё. Но – свободно, и можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед».

«Свободно» тут – ключевое слово: для поэта, особенно молодого, безбытность и определяет бытие.

«Жили мы от пайка до пайка, который (в том числе и печёный хлеб) выдавался раз в месяц, – вспоминал Михаил Касьянов. – При таких условиях хлеба никак не могло хватить. Сушить его нам было негде. Уже на третьей неделе после выдачи пайка мы доедали, размачивая в воде, последние засохшие кусочки, а в последнюю неделю перед новой выдачей обходились без хлеба. В студенческой столовой, в общежитии на Грибоедовском переулке, нас питали какой-то бурдой из капусты и картошки (зимой – всегда мороженой) на первое и такой же картошкой, обычно со свеклой – на второе. В день получения пайка каждому из нас давали по полтора больших квадратных солдатских каравай хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селёдку или воблу. После получения всех этих благ мы незамедлительно шли в чайную (на этот раз в университетскую), резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали всё это кипятком. Никакие пирожные никогда впоследствии не доставляли мне такого яркого наслаждения, как эти послепайковые трапезы. Мы вдвоём съедали за один присест четверть каравай, фунтов пять не меньше хлеба. <...>

Месяца два нам выдавали паёк аккуратно в срок и полностью. Потом выдачи стали уменьшаться, да и задерживались. Запасов у нас никаких не было. На Смоленском рынке мы продавали свою кое-какую и совсем нелишнюю одежку и покупали съестное, чтобы совсем не отощать. <...> Некоторым подспорьем в меню являлись мороженые яблоки, которых тогда в Москве было много.

Эта медицинская и пищевая стороны представляли собою часть нашей жизни. Для Николая медицинская сторона не имела самостоятельного значения, однако к еде он был склонен не меньше меня».

День, хочешь не хочешь, приходилось отдавать медицине. Зато вечера принадлежали тому, что влекло по-настоящему. В театры, за отсутствием денег, проникали «зайцами» и обычно во время антракта. Обоим нравились искромётные, феерические постановки Мейерхольда. Как-то на спектакле «Зори» по пьесе Э. Верхарна один из актёров прервал свой монолог и зачитал свежую фронтовую сводку о взятии Красной Армией Перекопа – зал грохнул рукоплесканиями. Такого не позабудешь: история творилась на глазах вместе с искусством.

Ещё интереснее было в Политехническом музее, где часто проходили вечера поэзии. Юноши не раз слушали Брюсова и Маяковского с их новыми стихами, выступления пролетарских поэтов Кириллова, Герасимова и Гастева и других.

Касьянов не без удивления отмечал про себя, как сдержанно, с прохладцей его товарищ воспринимает поэзию Маяковского. Поэт-трибун славился своим чтением: как-то был в ударе и замечательно прочёл «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума». В другой раз Маяковский выступил с чтением только что написанной поэмы «150 000 000». Врезалось в память, как, взятый поклонниками в плотное кольцо, поэт со стола, откуда читал стихи, бросил в разгорячённую толпу очередную шутку: «Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник». Николай, как и все, был захвачен чтением и остроумными репликами поэта с эстрады, которые тот, как звонкие пощёчины, раздавал в споре своим противникам. Но всякий раз повторялось одно и то же: стоило Маяковскому за кончить декламацию, как Заболоцкий в своих впечатлениях об услышанном снова возвращался к сдержанности, больше похожей на иронию.

Впрочем, эта ирония всего ярче сказалась в другом.

«Однажды, – рассказывает Касьянов, – когда мы после окончания вечера в Политехническом музее спускались по лестнице в густой толпе, Маяковский сходил вниз рядом с нами и даже наступил мне на правую стопу. Николай по этому поводу долго надо мной издевался и советовал мне сдать эту стопу в музей. При наших встречах с Ниной Александровной и Екатериной Сергеевной Николай несколько раз повторял одну и ту же шутку – хватал мою ногу, поднимал её кверху для всеобщего обозрения и возглашал: “Смотрите, вот эта нога”».

Конечно же, смеялся он отнюдь не над товарищем. Это был наглядный способ высмеять площадное в поэзии, зарифмованную «злобу дня», ну и, конечно, то густопсовое тщеславие, без которого немислима эстрада.

Чаще и охотнее всего друзья посещали кафе «Домино» на Тверской. Там было тесновато, зато как-то теплее – может, оттого, что атмосфера была своей. К тому же в кафе можно было перехватить чего-нибудь в буфете – то стакан простокваши, а то, если повезёт, тарелку каши. В «Домино» они слушали остроумные вирши Арго и Адуева, стихи имажинистов Шершеневича, Мариенгофа, Кусикова. Миша Касьянов был ярым поклонником Вадима Шершеневича, восхищался богатством и неожиданностью его образов – Заболоцкий же отзывался об этом поэте скептически: дескать, в стихах много невнятицы, да и звучат неважно...

«Часто бывал в кафе Сергей Есенин, русский круглолицый паренёк, начинавший входить в славу своими стихами: “Я последний поэт деревни”, “Хулиган” и другими в таком же стиле, – вспоминал Касьянов. – Ходили мы в это кафе почти всегда только вдвоём с Николаем, так как наши знакомые по вечерам преподавали в каких-то школах и были заняты. Возвращаясь ночью, мы декламировали стихи и часто

натыкались на патрули, которые принимали нас за пьяных, но, удостоверившись в нашем трезвом состоянии и проверив документы, отпускали с миром. Грабители на нас ни разу не нападали, по-видимому, из-за нашего скромного одеяния, да и взять с нас действительно было нечего».

Разумеется, для Заболоцкого эти походы были интересны не просто знакомством с «живыми» поэтами, с манерой их чтения. Он схватывал на лету новые веяния в поэзии – и осмысливал, изучал, подвергал критическому разбору происходящие в литературе явления.

Николаю было семнадцать лет, он ещё не вышел из поры стихийного ученичества, хотя, надо полагать, относился к нему, согласно своей натуре, вполне осознанно. Без сомнения, он отдавал себе отчёт в том, что подражательство и стилизация – естественный и необходимый этап, который должен пройти каждый молодой поэт, прежде чем отыщет свой собственный голос, язык и стиль. Об этом, собственно, говорят сами его тогдашние стихи. Правда, от них мало что уцелело, но и по тому, что сохранилось, видно, что на пути к себе он перепробовал множество стилей и манер. Примеры для подражания находились – от классиков прошлых веков, известных и полузабытых, до современников, тех, кто был *на слуху*, – а вот безусловных кумиров у него явно не было. Обладая цепкой памятью, он пытался постичь русскую поэзию во всём её объёме, и поначалу делал это больше по наитию, нежели осознанно. Вряд ли тогда он понимал, что *собственный голос* не появляется сам по себе. Форму определяет содержание. Если внутри тебя ещё не «созрело» собственное содержание, то откуда же взяться и неповторимому голосу.

По воспоминаниям Михаила Касьянова, бывали деньки, когда они с Николаем забрасывали к чертям должное – медицину с её анатомическими опытами, – и, как в желанный омут, бросались в опыты поэтические, наперебой сочиняя триолеты, октавы, сонеты, буриме. Конечно, эти экзерсисы больше были шуточной игрой, нежели занятием серьёзным, однако всякий опыт, даже вроде бы и бесполезный, имеет свой смысл. Не таким ли способом отсеивается в конце концов всё ненужное?..

К плодам этих забав относится иронический сонет Николая, названный им – *вульгарным*:

〈...〉

Пошли мы с Ванькой в променаж
Вдоль по Тверскому по бульвару.
Тут я вошёл, конечно, в раж
И, значит, дамского товару
Заворотил словечек пару,
Такую – хоть по морде мажь.
Она сказала мне: «Нахал» –
И батистовенький платочек
Тотчас, как тряпка, мокрым стал.
Люблю антиллитгентных дочек.
А так – какой же я нахал?
Я даже скромный, между прочим.

Учительница-опекунша Нина Александровна Руфина наставительно сказала, что сонет не может быть вульгарным, что это понятия несовместимые, – но сочинителя нисколько не переубедила.

Конечно, это экспромт, озорство. Быть может, в нарочитой грубоватости языка и тона кто-то разглядит лишь задетое достоинство попавшего в столицу провинциала? Наверное, не без того... Однако куда явственней в этом «вульгарном сонете»

другое – молодой поэт чувствует, что ему тесно в отживших свой век классических формах стиха и резко отстраняется от их мертвящей красоты.

Совершенно *из другой оперы* было новое стихотворение, в духе «пушкинских подражаний древним». Михаилу оно так понравилось, что он тут же записал миниатюру, – так и дошла она до нас:

Грозный Тартар бурей стонет,
Тени лёгкие летят,
Дубы чёрные скрипят,
Радость светлую хоронят.
Где-то там горит заря,
Ароматы ветер носит.
Верю – радость в сердце бросит
Золотые якоря.

Не отражение ли это их студенческой полуголодной жизни, с её одолевающим хаосом, сквозь мглу которого всё-таки светит надежда?..

Этой надеждой была – поэзия.

Как-то двое товарищей читали свежую книжку «Динамостихи» – «кажется, Садофьева». Автор клеймил Бальмонта: дескать, его крикливые сонеты «солнца, мёда и луны» – дело конченное и «рабочим не нужны». Как вспоминает Касьянов, Николай, хоть и не любил Бальмонта, всё же обиделся на автора стихов и сказал: «Ну что же, разве кроме рабочих и писать не для кого?» – Понятно, обиделся не за Бальмонта, а за поэзию: утилитарное отношение «пролетарских поэтов» к стихам, по сути, было оскорбительным для этой вольной стихии.

От большой поэмы, которую тогда же сочинял Николай, – её действие развивалось одновременно в лирическом и эпическом планах, воображаемом и реалистическом, современном, – в памяти Касьянова осталось лишь четыре строки:

Коломбина не знала, что её мишурное платье
Отражает багровые блики огней...
<...>
По снежным полям скрипит обоз –
Голодной, холодной Москве везут хлеб...

Приведём один из самых ярких отрывков из воспоминаний Михаила Касьянова, ненароком показывающий его друга в момент зарождения того стихотворения, откуда, похоже, начинается настоящий Николай Заболоцкий.

«Иногда днём, когда не было практических занятий, мы пропускали лекции и уходили в Румянцевскую библиотеку, читали там разную изящную литературу, заглушая голод частым курением. Однажды, проходя по курительной комнате от двери к окну, Николай сказал: “Как тут трещит паркет”. Вдруг в глазах у него появился блеск. Он бросил недокуренную “цыгарку” и сейчас же ушёл в читальный зал. А вечером Николай прочёл мне своё новое стихотворение:

Из окон старой курильни,
Где паркет трещит лощёный,
Посмотри на дряхлую площадь.
Там ещё не падают зданья,
Там ещё не ропщут скифы,
Голубые глаза округлив.

Там за поездом автомобилей
Еле скачет на чалой кляче
Мирликиец жёлтый и злой.
Ковыляют за ним скифы,
И мальчишка ловит сопливый
Малиновую епитрахиль.
В окне старой курильни
Хохочет охочий Арий
И тощих пощёчин ждёт».

В прихотливом этом видении 1920 года проглядывает подлинный Заболоцкий – создатель «Столбцов». Стилизация тут сгущается, рождая живую плоть ассоциаций, ритм своевольничает, отдаваясь настоящему дыханию стиха, взгляд на действительность, историю и миф из общего превращается в самобытный. По преданию, некогда святой Николай Мирликийский ударил по щеке на Никейском соборе ересиарха Ария, – каковы бы они ни были на самом деле – в стихотворении возникают, словно живые.

«Тощих пощёчин» – невозможно забыть или не заметить...

Тогда, под осень нового 1921 года, и наметилось расставание двух друзей-сочинителей из Уржума. Один всё твёрже выходил на поэтическую стезю – другой удалялся по дороге медика. И впоследствии, припоминая прошедшее, Михаил Иванович Касьянов уже точно понял это:

«Во всех несерьёзных и серьёзных упражнениях в стихосложении, которыми мы занимались дома, а иногда и публично, в гостях у наших знакомых или у их друзей, Николай всегда забивал меня быстротой и лёгкостью, с которыми он слагал свои буримы и другие поэтические мелочи. Окончательно он убил меня во время встречи нового 1921 года. Это было где-то в Замоскворечье у знакомых наших знакомых в большой, почти нетопленной комнате. На столе стояло весьма скромное (в складчину) угощение. После еды мы страшно дурачились: играли в какие-то подвижные игры вроде жмурок, немного танцевали, ставили театрализованные шарады. Наконец все уgomонились и решили заняться более интеллектуальными развлечениями. Было предложено объявить конкурс на скорость создания эпиграммы на любого из присутствующих. Николай мгновенно написал четыре строки, посвящённые Екатерине Сергеевне Левицкой:

Ваша чудная улыбка
Есть улыбка Саламбо.
Вы – прекраснейшая рыбка,
Лучше воблы МПО.
(Московское Потребительское Общество)

Я же всё ещё рожал свой каламбур, безнадежно отстал и совсем осрамился. Так постоянные неудачные для меня соревнования с Николаем постепенно отучили меня от стихосложения. Я всё больше и больше стал интересоваться медициной».

РАССТАВАНИЯ И ВСТРЕЧИ

С начала 1921 года студентам в Москве стало ещё голоднее. Усиленный паёк на медицинском факультете сняли. Хлеба выдавали всё меньше: сперва по полфунту, потом по четвертушке и, наконец, по восьмушке (50 граммов). Медицина Николаю была неинтересна, есть было нечего – пришлось ему вернуться в Уржум.

Тяжко было возвращаться восвояси, ничего не добившись.

Домашним жилось нелегко; отец с трудом восстанавливался после болезни. В Уржуме тоже было голодно, хотя и не так, как в Москве. Кругом разруха, эпидемии «испанки» и тифа.

«Весной всей семьёй вскопали землю на дедовской “ободворице” и грядки у дома, – пишет Никита Заболоцкий в книге о поэте. – Всё лето с нетерпением ждали урожая картофеля, гороха, овощей, без которых было немислимо прокормиться зимой. Николай неохотно помогал в домашних делах и большую часть дня отсиживался на своём чердаке – читал, занимался, писал стихи. Вместе с младшим братом с ужасом наблюдал он оттуда, как мимо их дома к кладбищу тянутся подводы с трупами людей, умерших от голода, брюшного тифа и жестокого гриппа. Покойников везли прямо в телегах, без гробов, едва прикрыв белым покрывалом».

Что до Михаила Касьянова, то он остался в Москве и вскоре совсем обессилел от недоедания. К сессии у него из еды была лишь кислая капуста и бутылка с постным маслом. На экзамены шёл, шатаясь от головокружения. С трудом сдал сессию и сразу же отправился домой. Путь долгий, а на дорогу выдали только соль и спички, на которые хлеба не выменяешь. Когда добрался до своей Шурмы и вступил на порог, родной дядя не признал в тощем оборванце своего племянника. Замахал руками: «Не подаём! Не подаём!» Все каникулы Миша отъедался да отсыпался под своим кровом. Потом перебрался в сельскую школу – друзья поселили его в пустом классе, где в тишине и покое Касьянов принялся за стихи. «Онегинскими строфами изложил я впечатления от своей дороги из Москвы в Шурму, написал октавами письмо Борису Польшеру в Уржум, – вспоминал он. – Вскоре получил от Бориса письмо в прозе, а от Николая в стихах. Николаево послание было написано на обороте каких-то дореволюционных бланков по страхованию недвижимого имущества, по-видимому, заимствованных в каком-нибудь учреждении. Стихи на случай сохранились <...>».

Здорово, друг, от праздной лени
Или от праведных трудов,
Но пред Шурмою я готов
Сегодня преклонить колени!
Прими, задумчивый поэт,
Мой легкомысленный привет!

Долготерпению во славу
Не разбирай моих затей.
Здесь ни гекзаметр, ни хорей,
Здесь ни Онегин, ни октавы –
Но просто сброд из всяких строк,
Не знаю, будет ли в них прок. <...>

Итак, поэт, проходит лето,
И осень в воздухе плывёт,
Уж Муза зимней вьюги ждёт,
И валенки уже надеты
На Музиных святых ногах –
Такой пассаж. Ну прямо – ах!

А я, переменив решение,
В Лито лечу стремленьем злым.

Послал прошение заказным
И жду ответного решения.
О.Н.О. решил не задержать
Поэта командировать.

Итак, быть может, через месяц
Или, быть может, через два
Тебя я встречу, голова,
В Москве. Ну, покрехтим, брат, вместе
Или при случае вдвоём
Слезу единую прольём.

Как видим, после первой неудачной попытки устроиться в Москве восемнадцатилетний Николай отнюдь не упал духом – он собирался с силами, желая вернуться в столицу и продолжить образование.

«Лито», куда он «летел стремлением злым», было Литературным отделом Народного комиссариата просвещения – и там работала творческая студия Валерия Брюсова. Известный поэт преобразовал эту студию в 1921 году в новый, Высший литературно-художественный институт. Туда, по предположению Н. Н. Заболоцкого, и намеревался поступить на учёбу его отец, и «О.Н.О.», то есть отдел народного образования, по-видимому, обещал поддержку.

Но это – планы. О работе
Моей теперь поговорим.
Я чистым стал, как херувим,
Отбросив чёрные заботы.
Иначе: мыслью не грешу,
Стихов любовных не пишу.

Писал я драму. Были люди,
Средневековый мрачный пыл.
Но я, мой друг, увы – застыл
На «Вифлеемском перепутье»,
Зовётся драма так моя –
Конца же ей не вижу я! <...>

Далее несколько строф с упрёками: друг ленится, не пишет: ну, коли валяешься – так пиши хотя бы в своей кровати!

А в ней, во славу всей России
Иль докторской своей души,
Октавами хотя пиши
Рецепты от дизентерии.
Помилуй бог – ведь ты талант,
Не медицинский арестант!

По этим отрывкам ясно: молодой Заболоцкий видел в своём ровеснике поэтический дар – и потому никак не мог смириться с мыслью, что товарищ напрочь увяз в медицине.

Ну, не сердись. Прощай покуда...
Хоть драма всё ещё вчера –
Но надоела страшно мне

Листов исписанная гряда.
Пиши ко мне в Совхоз. Прощай.
Твой Заболотский Николай.
21.07.1921.

Миша Касьянов наконец-таки отошёл от московской голодухи и приехал в Уржум повидаться с друзьями. К тому времени Николай уже передумал ехать в Москву – теперь он собирался в Петроград.

Что заставило его переменить решение? Сын-биограф пишет: родители упрекали Николая, что он недостаточно заботится о семейных нуждах. Отцу и матери хотелось, чтобы их первенец не витал в облаках, а получил надёжную профессию, дающую кусок хлеба. «Возможно, эти разговоры в какой-то степени повлияли на Николая. Он посоветовался со школьным товарищем Н. Резвых, приехавшим на каникулы и уже окончившим первый курс Петроградского педагогического института, и решил, отказавшись от Лито, тоже поступить в Педагогический институт. Педагогом он быть не собирался, но профессия учителя могла оказаться не лишней, примирив его с желаниями родителей и дав запасной шанс в жизни».

Так и разошлись пути-дороги Николая и Михаила.

Поначалу, конечно, часто обменивались письмами, но постепенно переписка угасла. Касьянову, с головой ушедшему в медицину, было не до стихов, хотя о друге не забывал. В декабре 1924 года, приехав на каникулах в Ленинград, пытался найти Заболотского, но встретиться так и не удалось.

До 1932 года Михаил Касьянов работал врачом в Саратове, потом вернулся в Москву. Наверное, через земляков отыскал адрес Николая, послал ему восточку: по-видимому, интересовался жизнью, творчеством и просил прислать книгу стихов. Заболотский ответил письмом – от 10 сентября 1932 года:

«Дорогой Миша, рад, что отыскался твой след. Книжка “Столбцы” – единственная моя книжка стихов. Она вышла в 1929 году и разошлась в несколько дней как в Ленинграде, так и в Москве. Переизданий не было до сих пор, т. к. книжка вызвала в литературе порядочный скандал и я был причислен к лику нечестивых. <...> Что касается самой книжки, то последний экземпляр её похитили у меня более года тому назад, и даже в своей работе теперь я пользуюсь чужим экземпляром. Но этой зимой я надеюсь выпустить первый том, в который “Столбцы” целиком войдут. <...>

Что написать о себе? В маленьком письме трудно рассказать всё. После того как судьба разъединила нас, литературой заниматься я не перестал. Писал много, но первых результатов добился только в 26 году, то есть через 5 лет после Москвы. Критика обвиняет меня в индивидуализме, и поскольку это касается *способа писать*, *способа видеть и думать*, то, очевидно, я действительно чем-то отличаюсь от большинства ныне пишущих. Ни к какой лит. группировке я не примыкаю, стою отдельно, только вхожу в Союз советских писателей. У меня много врагов, но много и друзей. <...>

О своей личной жизни: три года как женат, и женат удачно, растёт сынок Никитушка, ему семь с половиной месяцев, весь в отца, и очень мне нравится. Когда будешь в Ленинграде – обязательно заезжай ко мне, вспомним старину, почитаем стихи, выпьем доброго ленинградского пива. В Москву я едва ли поеду – стараюсь избегать Москвы, так как мне не нравится московский литературный люд, хотя и там есть много моих друзей.

За эти годы доносились до меня смутные слухи, что ты женат, имеешь детей и усердно врачуешь болящих. Напиши мне о своей жизни. <...>

Из старых уржумцев здесь Коля Сбоев и Лиля Польшнер – супруги. Они часто бывают у нас, и мы дружно живём с ними. Коля Резвых тоже здесь – он женат, родил дочку. Вжусь с ним редко. <...>

Встретились Николай и Михаил лишь в августе 1933 года, когда Касьянов вновь оказался в Питере...

С тех пор уже не переписывались. Михаил Касьянов на время отошёл от врачебной практики – в московской аспирантуре писал кандидатскую по патологической анатомии. В конце тридцатых годов узнал, что его старый товарищ «разделил участь многих других порядочных людей – был сослан». Целое десятилетие он ничего не слышал о поэте.

* * *

В 1939-м судьба забросила Касьянова на войну – сначала это была «польская кампания», а потом – финская. Военным врачом прошёл и всю Великую Отечественную, дослужился до полковника – начальника патологоанатомической лаборатории Второго Белорусского фронта.

«В начале 1947 года (вероятно, в феврале) в один из воскресных дней, включив радио, я с удивлением услышал голос чтеца, чрезвычайно похожий на голос Н. А. Заболоцкого, – вспоминает он. – Но этого и быть не могло, он же – в ссылке, а оттуда не возвращаются. Читалось “Слово о полку Игореве” на современном русском языке. После окончания передачи диктор произнёс: “Новый перевод Слова о полку Игореве читал автор, поэт Николай Заболоцкий”. Я ахнул: значит, он вернулся. Сейчас же я написал Николаю Алексеевичу открытку на адрес радио с просьбой зайти. Недели через две, в марте, когда я только что вернулся с работы и повесил на стенку (на плечиках) свой китель с орденскими и медальными ленточками, как раздался звонок и пришёл Заболоцкий. Поздоровались. Он сразу бросил взгляд на мой китель и сказал: “За какие же подвиги ты получил все эти ордена и медали?” – показывая на планки. Я был потрясён прозвучавшей в голосе Николая Алексеевича горечью и смущённо произнёс: “Ну, я всё-таки с первого и до последнего дня был на войне”. От обеда Николай Алексеевич отказался и попросил чаю покрепче. После чая он немного отмяк и сказал: “Ты извини, это я неудачно сказал”. Поговорили о его будущем».

И самое главное впечатление о той послевоенной встрече:

«Потом прочёл последние (так он сказал) написанные им стихи – это была “Гроза”. Впечатление у всей нашей семьи было громадное. Даже бабушка, далёкая от поэзии, была потрясена. Я христом-богом молил Николая дать мне возможность записать это стихотворение сейчас же с голоса, но он отказал: “Не надо. Это всё теперь будет напечатано”. Я, признаться, не очень в это поверил».

Зря не поверил: “Гроза» действительно вскоре появилась на страницах новой книги, изданной в 1948 году.

Что касается впечатления – да, *громадное*. Не иначе!

Это как после лёгких напевов ранних стихов, после балалаечного брянчания шуточных куплетов, услышанных в молодости и, наконец, после режущих слух и будоражащих ум «Столбцов» – в комнате вдруг зазвучал бы могучий небесный орган.

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Всё труднее дышать, в небе облачный вал шевелится.
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на тёмной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов – первых слов на родном языке.

Так из тёмной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивлённая, смотрит в дивном блеске своей наготы.
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые льётся цветы.

Встречались они и позже – в 1954 году: Касьянов навестил Заболоцкого на его квартире в Москве. Но разговор уже «не очень-то клеился».

А последнее свидание было в апреле 1956 года. Михаил Иванович с товарищем – оба с жёнами – «напросились» в гости к Заболоцким:

«Опять было угощенье с сухими винами и более крепкими напитками в роде коньяка. Разговор был общим. Я передал Николаю десятка два моих стихов, напечатанных на машинке. Екатерина Васильевна сказала: “Давайте почитаем”. Но Николай запротестовал: “Нет, сейчас читать нельзя”. Подтекстом тут было, что стихи – это святыня и нельзя их читать за пиршественным столом».

Всё правильно понял Михаил Иванович Касьянов: стихи для Заболоцкого как были, так и остались – святыней...

Глава шестая **...А ПИТЕР БОКА ПОВЫТЕР**

«В ПОХОРОННОМ СВИСТЕ РЕВОЛЮЦИЙ...»

С петроградского снимка 1921 года, посланного домой в Уржум, смотрит почти что мальчик – белокурый, опрятный, в косоворотке: на переносице овальные окуляры, взор внимательный, скорее задумчивый, чем грустный. Этакий робкий, прилежный ученик; уголки губ чуть опущены – признак печали, – хотя юноше всего-то восемнадцать лет. На обороте этой старой фотографии была надпись: «От сына Коли – студента Петроградского института имени Герцена». Для отца с матерью, наверное, и снимался на память.

Как непохож на этого примерного студента карандашный автопортрет 1925 года! Вроде бы тот же человек – да совсем не тот, хотя и прошло-то совсем немного лет. Рисунок – в манере кубизма: лицо в квадратах, ромбах, прихотливых многоугольниках светотени; линии резки, изломаны. Особенно поражают глаза: они расширены, суровы, пытливы и как будто бы искажены страстью, в которой и воля, и целеустремлённость, и мука. Сумасшедший взгляд – и предельно трезвый! Взгляд человека, беспощадно требовательного к себе и окружающему миру, человека, взыскующего правды жизни, какой бы эта правда ни была.

Фотопортрет отразил лишь внешность, рисунок же – внутреннюю жизнь, да заодно и пять лет петроградского студенчества. Как раз тот отрезок времени, когда

Заболоцкий, вечно полуголодный, а то и вовсе голодая, вырабатывал собственный стиль, отыскивая свой *способ писать, думать и видеть*.

Август 1921 года, когда он приехал в город на Неве, был солнечным, тёплым и даже жарким. Больше всего его поразили тогда два события, произошедшие в канун его приезда: кончина Блока и гибель Гумилёва. О первой трагедии напоминали афиши с приглашением на вечера памяти поэта, расклеенные на городских стенах; о второй – шептались повсюду, в попытке узнать подробности. «Сколько утрат – умер А. Блок, уехал из России А. Белый, Н. Гумилёва – расстреляли», – позже писал Николай своему другу Мише Касьянову в письме от 11 ноября 1921 года.

Судьба, конечно, не зря изгнала Заболоцкого из Москвы и привела в Питер. Тектонический разлом эпохи, всей русской истории особенно ярко отразился именно здесь. К тому же юному провинциалу, желающему во что бы то ни стало получить хорошее литературное образование, куда как больше подходил, да и соответствовал по характеру Петроград, превратившийся после революции в провинциальный город, нежели Москва с её столичной суетой.

Ещё недавно блестящая столица могучей империи, *колыбель революции*, Петербург-Петроград на исходе Гражданской войны стал похож на город-призрак. *Революция* не пощадила своей *колыбели*: из города словно бы выпили кровь. Прежде наполненный бурлящей жизнью, он сделался полуживым: населения вдвое, если не втрое, меньше; кругом запустение; заводы и фабрики стоят – нет ни сырья, ни топлива. В пролетарском центре стало впятеро меньше рабочих: заводской и фабричный люд просто разбежался по деревням, чтобы прокормиться и выжить. На земле это было ещё возможно – но не на *мостовых*.

Несчастье оказалось городу к лицу.

«(…) именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда», – писал впоследствии поэт Владислав Ходасевич в очерке «Диск» – воспоминаниях о Доме искусств, или «Диске», где он жил рядом с Мандельштамом, Зощенко, Фединым, Шкловским и другими известными личностями. И так развивал свой образ: «Москва, лишённая торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нём насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, – и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрёл ничего нового, – но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота – временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании её есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинает касаться и Петербурга: там провалились торцы, там посыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад ещё был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, ещё не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей».

Собственно, это уже был не *Петербург* (понятие всё-таки дореволюционное, а если исторически – довоенное), а – *Петроград*.

«В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно, – продолжает Владислав Ходасевич. – (...) Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен, и пахло морем. (...) Зато жизнь научная, литературная, театральная художественная проступила наружу с небывалой отчётливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но ещё не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъёме. Голод и холод не снижали этого подъёма, – может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:

И мне от голода легко
И весело от вдохновенья.

Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало бытовых навыков и перед которым поставила ряд серьёзных вопросов, относилось к литературе с особым, подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызвали огромное стечение публики».

Вот в какую необыкновенную пору Петрограда попал сюда восемнадцатилетний, никому не известный сочинитель.

В общежитии он устроился в одной комнате с приятелями по Уржуму: Николаем Резвых, Борисом Польшером, с которыми вместе учился в Педагогическом, и Аркадием Жмакиным из Технологического института. Как и в Москве, земляки держались вместе, стараясь поддерживать друг друга.

Но и в Питере студентам было не легче, чем в столице. Недаром, в ответ на «удручающее» послание Михаила Касьянова из Москвы, Заболоцкий воскликнул в письме от 7 ноября 1921 года: «Трудно жить, невозможно жить!» Над юношами висела постоянная угроза голода: в любой момент их могли лишиться довольствия, и без того скудного. Проучились всего-то ничего, а снимут паёк – так и вовсе распустят на все четыре стороны на месяц-другой. «Всё это сейчас ещё крайне неопределённо, а потому – мучительно, – писал Николай другу. – Практические дела с каждым днём всё хужеют – бунтует душа, а жизнь не уступает. Проклятый желудок требует своих минимумов, а минимумы пахнут бесконечными десятками и сотнями тысяч... А душа бунтует – но, увы, и она просит того же...»

Однако как уберечь последние гроши, когда в книжных лавках столько интересного! Николай не удержался – купил объёмистый том Д. Гинцбурга о русском стихосложении, «Опыты» В. Брюсова и ещё одну книгу по стихосложению, «сорт-двумя ниже», – «Версификацию» Н. Шебуева. Да набрал ещё стихотворных сборников и литературных журналов.

«Теперь читаю, используя всякую возможность. Хочется, до боли хочется работать над ритмом, но обстоятельства не позволяют заняться делом. Пишу не очень много. Но чувствую непреодолимое влечение к поэзии Мандельштама (“Камень”) и пр. Так хочется принять на веру его слова:

Есть ценностей незыблемая скала...
И думал я: витийствовать не надо...

И я не витийствую. По крайней мере, не хочу витийствовать. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким вдумчивым строкам, тяготение к сильному смысловому образу. С другой стороны – томит душу непосредственная бессмысленность существования».

Обстановка в городе была напряжённой, сложной: не прошло и полгода с Кронштадтского мятежа, жестоко подавленного властью. Тысячи моряков, ещё недавно бывших *честью и славой революции*, были перестреляны и казнены за то, что хотели «Советов без большевиков». А в августе, по делу так называемой Петербургской боевой организации Таганцева, были расстреляны несколько десятков человек, в том числе и поэт Николай Гумилёв, – арестованных же было около тысячи...

Гнетущая атмосфера террора и порождаемого им страха была вполне ощутимой для всех в опустошённом Гражданской войной Петрограде – и вызывала душевную смуту:

«Есть страшный иску́с – дорога к сладостному одиночеству, но это – Клеопатра, которая убивает. Родина, мораль, религия, – современность, – революция, – точно тяжкая громада висят над душой эти гнетущие вопросы. Бессмысленно плакаться и жаловаться – быть Надсонами современности, но как-то сами собой выливаются чёрные строки:

В похоронном свисте революций
Видишь ты кровавые персты?
Мысли стонут, песни бьются –
Слышишь ты?
Это мы – устав от созерцанья, –
От логически-невыполненных дел –
В мир бросаем песни без названья,
Скорбью отягчающий размер.
Отнял мир у нас каждое желанье,
Каждый плач, и ненависть, и вздох,
И лица родимого страданье
Топчет грязь подбитых каблуков.
Как далёк восход зари последней!
Как пустыня тяжкая щемит!
И стоим – оплёванные тени,
Подневольные времён гробовщики.

Проклятая, да, проклятая жизнь! Я запутался в её серых, тягучих нитях, как в тенётах, и где выход?»

Николай искал опоры в себе, в книгах – и почти ничего не находил. Однако продолжал этот нескончаемый душевный труд, незаметно сам для себя укрепляя и закаляя волю:

«Толстой и Ницше одинаково чужды мне, но божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него бога. И бьюсь. Так живёт и болит моя душа.

Конечно, все силы приложу для того, чтобы остаться здесь. Это всё же необходимо; иначе будет трудно. Но пусть будет то, что будет...

Ты пиши. Жду от тебя писем. Ведь моя жизнь так одинока, в сущности. Соседи по квартире знают меня, как грубого, несимпатичного полумужика, и я – странное дело – как будто радуюсь этому. Ведь жизнь такая странная вещь – если видишь в себе что-нибудь – не показывай этого никому – пусть ты будешь для других кем угодно, но пусть руки их не трогают своего сердца. И в сущности, это почти всегда так и бывает. Я знаю многих людей, которые инстинктивно показывают себя другими, не теми, что есть. Это так понятно. <...>

Конечно, было бы хорошо, если бы ты как-нибудь перекатил сюда. У нас предполагается основание небольшого кружка Поэтов, причём, кажется, будет воз-

можно и печататься. Подумай над этим и напиши мне. Писем от тебя жду всегда. И радуюсь им».

Неизвестно, что ответил Касьянов другу. «Перекатить» он, конечно, не смог..

Где-то рядом с Николаем жили и дышали с ним одним воздухом Ахматова, Мандельштам и другие поэты, которых он читал в Уржуме и Москве, но он, кажется, и не думал заявиться к кому-нибудь из них со своими стихами, — по крайней мере, ни в одних воспоминаниях нет даже и намёка на это. Вообще говоря, в своей поэтической молодости Заболоцкий, по-видимому, и не пытался представиться ни одному из *мэтров*. Отчасти, наверное, из самолюбия, отчасти же понимая: из того, что написано, показывать нечего. (Потом, когда появилось *своё*, — идти за «благословением» было уже незачем.) Но, скорее всего, он изначально решил до всего дойти собственным умом, без чьих бы то ни было советов и подсказок.

Обитатель «Диска» Владислав Ходасевич, сравнивая академические пайки в Москве и Петрограде, пришёл к выводу, что петроградцы получали гораздо меньше, да и «подвоза продуктов приходилось ожидать часами».

По поводу *пайков* успел перед смертью печально усмехнуться Александр Блок:

Верь, читатель, — он не проза,
Свыше данный нам паёк.
Ввоза, вывоза, подвоза
Ни на юг, ни на восток...

Паёк *академический* выдавали по специальному списку. Куда было студентам до академической «роскоши»!.. Так что вряд ли Николаю и его сотоварищам по комнате в общежитии было «от голода легко». Всё свободное от учёбы время уходило на поиски заработка и добывание пищи. Вот что писал Заболоцкий к Михаилу Касьянову в ноябре 1921 года:

«Мой дорогой Миша, прости — за 3 месяца моего петроградского житья не послал тебе ни одного слова. Почему? Ни одной минуты не уделил ещё себе из всего этого времени — обратился в профессионального грузчика — физическая работа — всё время заняла до сих пор — сюда ещё присоединяется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца убиты на будущее. Работал в порту по выгрузке кораблей — за эту работу получу скоро различных продуктов (шпику, муки, сахару, рыбы и пр.) общей стоимостью на один-полтора миллиона. Кроме того, заработал тысяч 400 на лесозаготовке. На всё это думаю немного подправиться — весь обносился и исхудал, так что меня в институте многие почти не узнают. Пока с продовольственной стороны мы — я, Аркадий и К. Резвых (Борис не вынес и укатил в Уржум) различаем 3 периода в своей жизни. 1 картофельный, 11 мучной и сейчас 111 — жировой. Отделяется один от другого — расстройствами желудков. Сейчас живу более или менее сносно, но холодище мешает заниматься. Только что начинаю посещать лекции и начинаю зарываться в глубины человечества — сумерийские, хамитские и пр. и пр. эпохи. С журналом дело не ладится. Паёк прибавили: 1 ф. хлеба, 4 ф. крупы, 5 ф. селёдок, 1 — масла, 1 — сахару и пр. Голодать кончаю. Зато отупел совершенно и плачу над самим собой. Ничего не пишу или очень мало. Иногда выступаю на концертах — публика относится с удивлением и нерешительно хлопает».

И чуть далее:

«Живу в обществе Аркадия и Кольки Резвых. Математика и желудок. Одиночество. В Институте много славных ребят, но толку мало. Бабья нет, да и не надо. <...>

Дома положение плохо. Отец болен, совхоз шатается и пр.

Пиши мне стихи. Здесь Мандельштам пишет замечательные стихи. Послушай-ка:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного мёда,
Как нам велели пчёлы Персефоны. <...>

Если Николая и навещало порой вдохновение, то не весёлое:

...Но день пройдёт печален и высок.
Он выйдет вдруг походкой угловатой,
Накинёт на меня упругое лассо
И кровь иссушит на заре проклятой.
Борьба и жизнь... Пытает глаз туман...
Тоскует жизнь тоскою расставанья,
И голод – одинокий секундант –
Шаги костяшкой меряет заране...

Поэзии в этих неуклюжих строках и угловатых рифмах нет – лишь сумбурный выплеск чувств, не дозревших до стихов. Память о прочитанном «выдала» юному сочинителю готовые образы: Майн Рид кинул в подарок *упругое лассо*, Пушкин с Лермонтовым подарили *дуэлью*. Борьба за существование показалась поединком со смертью, где голод уже отмеряет шаги до барьера...

Так действовал на восемнадцатилетнего Заболоцкого Питер.

САДЫ ПОЗНАНИЯ

В письмах 1921 года из Петрограда, собственно, меньше всего – о самом Герценовском педагогическом институте. На уме юноши одна поэзия да ещё наивное желание научиться писать стихи с помощью пособий по версификаторству. Но что могут дать теоретики этого премудрого искусства вроде Гинцбурга или Шебуева, не снизошедшие за отсутствием таланта до, так сказать, практики? Одно дело – *Кама Сутра*, и совсем другое – *любовь*. Своенравная Муза почему-то всегда отворачивалась от учёных знатоков теории стихосложения: коли они вдруг начинали петь, то выходило не лучше, чем у механических соловьёв. (Валерий Брюсов, может быть, не в счёт, талант у него был, хотя больше – поза и роль мэтра, теоретика-практика, усиленно играющего мускулами и перепробовавшего весь арсенал размеров и рифм. Только вот сугубое мастерство нимало не прибавило поэзии его стихам.)

Человек, обладающий даром, сознательно или же бессознательно, ищет прежде всего поэтического содержания, а оно даётся не познаниями в стихосложении, но живой жизнью: впечатлениями, переживаниями, всем опытом ума, памяти и сердца. Версификация – дело последнее и, кажется, не очень-то и нужное, а, может, не нужное вообще. Не от избытка теории глаголют уста – а от *избытка сердца*. Содержание само находит себе форму, всякий раз – единственно возможную. Ритм и интонацию подсказывает сама стихия рождающегося слова. Русский язык словно бы изначально предназначен для поэзии, ведь *стих* и *стихия* – однокоренные слова. Давным-давно они органично перешли из греческого в старославянский, а затем и в современный русский язык, чтобы определить нечто, подобное творению. Не сам ли Бог-Слово благословил этими понятиями русскую поэзию...

Понимание всего этого пришло к Заболоцкому через годы и годы после его петроградской юности, а тогда он только интуитивно приближался к сути поэзии и к тайнам мастерства.

Сам этот великий город, в его прекрасной нищей наготе, незримо выковывал дух в юном художнике, прибывшем сюда из глубин России по наитию ума и сердца.

Несмотря на революционные потрясения, северная столица сохранила костяк своей знаменитой академической школы, так что почерпнуть из кладеза знаний молодым людям было у кого.

Разумеется, для Николая важнее всего были стихи. А институт, образование – постольку-поскольку. Педагогом он быть не собирался, хотя считался способным студентом и даже одно время испытал малодушный соблазн свернуть с назначенного пути и посвятить себя «всецело науке». Но так и так хорошее образование ему было необходимо. Громадные пробелы в знаниях сделались для него очевидными сразу же при поступлении в Педагогический институт.

Его экзаменовал декан общественно-экономического факультета профессор Василий Алексеевич Десницкий, известный литературовед. Десницкий был чрезвычайно яркой и незаурядной личностью. Он родился в Нижегородской губернии и был из «духовного звания» (отец – дьякон). Там же в Нижнем Новгороде закончил духовную семинарию, а потом увлёкся революционными идеями и примкнул к социал-демократам. В молодости познакомился с Максимом Горьким и дружил с ним до самой смерти писателя. Получил ещё одно образование – историко-филологическое. По натуре это был учёный-созидатель и педагог-организатор. Десницкий глубоко изучал русскую классику: Пушкина, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Горького и других; воспитал десятки известных литературоведов и педагогов. Его учениками считали себя такие выдающиеся учёные, как академик В. М. Жирмунский, Т. В. Томашевский, Б. Н. Берков.

Василий Алексеевич Десницкий, собственно, и создал Герценовский институт в Питере: через посредничество Горького обратился в 1918 году к Ленину (с которым был знаком по партийной работе), предложив создать высшее педагогическое учебное заведение нового типа – с полным университетским образованием. Проект Десницкого был тогда же одобрен декретом наркома просвещения. Под новый институт отдали здание бывшего Императорского Воспитательного дома на набережной реки Мойки.

Василий Алексеевич умел разбираться в людях – и разглядел в юноше Заболоцком, поступавшем на литературное отделение факультета, немалые творческие задатки. Декан не раз выручал молодого студента на регулярных «чистках», когда бдительные комиссии выискивали в рядах студентов и преподавателей тех, кто происхождением относился к «имущим классам». Хотя отец Николая был из крестьян и всю жизнь проработал на земле, для советской власти образца двадцатых годов он был «эксплуататором», потому что занимал должность агронома. За такое сомнительное родство его сын мог в два счёта вылететь из рядов студентов. Если бы не партийное прошлое Десницкого и не его авторитет, жизнь Заболоцкого сложилась бы иначе. Точно так же Десницкий помогал и своим коллегам: в 1921 году, обратившись с письмом к Ленину, он вызволил на свободу известного историка И. А. Рожкова.

Осенью 1947 года комиссия по организации 70-летнего юбилея В. А. Десницкого обратилась к Николаю Заболоцкому, лишь недавно отбывшему срок заключения, с просьбой написать стихотворение в честь педагога для специального выпуска институтских «Учёных записок». Сочинять подобные вещи поэт, понятное дело, не любил, как пишет в книге об отце его сын Никита Николаевич, – да почти никогда

и не принимался за такое. «В отношении близких ему людей прибегал в таких случаях к шуточному жанру – писал добродушно-иронические, шуточные, по его выражению, “стишки”, предназначенные исключительно для домашнего пользования». Но Василия Алексеевича Десницкого поэт уважал по-особому, испытывая огромную благодарность к своему заступнику.

Когда поэта арестовали в 1938 году, Василий Алексеевич был одним из немногих, кто его защищал перед властями. Десницкий обратился с письмом к Сталину, сказав, что высоко ценит своего бывшего ученика как поэта и что тот никак не может быть врагом народа. С вождем он был лично знаком ещё по большевистскому подполью и обращался к нему, как прежде, называя – Коба и подписываясь своей партийной кличкой – Лопата. Что *Коба* ответил *Лопате* и ответил ли вообще, неизвестно – только участи арестованного это ходатайство никак не переменяло.

В декабре 1947 года Николай Алексеевич сердечным письмом поздравил с 70-летним юбилеем своего учителя:

«Сколько раз за эти годы мы с Катей вспоминали Вас как отца родного и вместе с этим вспоминали нашу молодость, и Герценовский институт <...>. Я очень хорошо помню, как в августе 21 года, когда на стенах города были расклеены афиши о траурных вечерах по поводу смерти Блока, Вы впервые экзаменовали меня, принимая в институт; как я безбожно путал Пугачёва со Стенькой Разиным, но зато назубок знал символистов вплоть до Эллиса, и как Вы тогда мне сказали, что в голове у меня порядочная каша и что если и есть в ней что-нибудь порядочное, – то это безусловное желание учиться. В сущности говоря, тогда решалась судьба этого вятского паренька; эту судьбу решали Вы, и Вы решили её человеколюбиво и правильно. А в институтские годы сколько раз Вы охраняли меня <...>! Всегда, вплоть до последних лет моего отсутствия, я чувствовал Вашу внимательную и направляющую руку <...>».

А в мае следующего года послал Десницкому письмо со стихотворением «Садовник», ему посвящённому:

Но, если есть награда за труды, –
Что может быть отраднее сознания
Садовника, взрастившего сады
На каменистых склонах мироздания? <...>

В его садах – избыток дивных сил,
Их не убьют ни засухи, ни стужи...
Учитель мой! Ты не сады растил –
Ты строил человеческие души.

И далее:

Согретый солнцем сталинских идей
И до конца поверив в человека,
Ты вызвал к жизни тысячи людей –
Строителей невиданного века.
.....
Поистине, сегодня счастлив ты,
Живых сердец взыскательный садовник!

Что и говорить, юбилейное стихотворение Заболоцкий сочинил добросовестно. Однако это дело техники – не вдохновения. Муза, конечно, поморщилась: челове-

коугодничество. Муза, она, хоть и мифическое существо, но крайне привередливое, и такое ей не по нраву. Но не отвернулась насовсем, простила – потому что любила Заболоцкого.

Никита Николаевич пишет в своей книге, что отец, как обычно, прочитал стихотворение своему другу Николаю Леонидовичу Степанову. Тот, по всегдашней своей осторожности, предостерёг: в образе садовника уже давно грузинские поэты воспевают Сталина. «Как бы не сочли недозволенной дерзостью уподобление мудрому садовнику не вождя, а профессора-литературоведа, не усмотрели бы в этом какой-либо нежелательный смысл. В то тревожное время приходилось учитывать даже такие едва уловимые нюансы». Заболоцкий не внял предостережению, посчитав, судя по всему, что вполне обезопасился непременно «солнцем сталинских идей».

Сам он не смог приехать на юбилей учителя: в Подмоскovie жил в то время «на птичьих правах», да и денег не водилось. Но в Ленинград как раз собиралась его жена, Екатерина Васильевна, – ей надо было присмотреть за небольшим наследством – дачей, которую оставил ей дядя. Сама выпускница Герценовского института, она и передала стихотворение бывшему декану. За обедом в доме Десницкого на Кировском проспекте профессор с женой подробно расспросили её о Заболоцком. «За чаем, когда Василий Алексеевич ушёл в свой кабинет, его жена Александра Митрофановна сказала, что они читали “Садовника”, что Василию Алексеевичу неудобно хвалить воспевающее его стихотворение, но оно ему понравилось и он даже пожелал, чтобы после его смерти “Садовника” прочли на его могиле».

Всё это по-человечески трогательно, но собственно к поэзии отношения не имеет, – истинную цену стихотворения Заболоцкий, конечно, понимал лучше других.

Однако вернёмся ко временам его обучения в Петрограде.

«Характерными чертами студенческой жизни 20-х годов была самостоятельность, возможность и способность отстаивать на дискуссиях и семинарах свою точку зрения, широта интересов, – пишет Никита Заболоцкий. – Не было ещё возникшей позднее самоизоляции специалистов. Гуманитарии заинтересованно общались с биологами, физиками, математиками. Писатель Геннадий Гор, учившийся в то время в Петроградском университете, вспоминал: “Рядом со мной жили студенты: физик, биолог, этнограф... В Университете между ‘физиками’ и ‘лириками’ не было китайской стены. Филологи заглядывали на лекции Ухтомского, Филипченко, Хвольсона (профессора – физиолог, генетик, физик. – Н. З.), а биологи и физики – на заседания университетской литературной группы”. Похоже, что подобное общение студентов разных факультетов существовало и в Педагогическом институте. В конце 1921 года все они с одинаковым интересом слушали организованные здесь в пользу голодающих платные лекции крупных учёных: литературоведа В. А. Десницкого – о зарубежной литературе; историка Н. А. Рожкова – о теории познания; ботаника, будущего президента Академии наук В. Л. Комарова – о естествознании и этике. <...>

Разговоры о теории относительности, о чувствительности растений, о развитии генетики сменялись спорами о театре Мейерхольда, о живописи Шагала и Малевича, о новых течениях в литературе. Такая атмосфера взаимопроникновения гуманитарных и естественных знаний соответствовала ещё в детстве возникшему стремлению Заболоцкого к целостному постижению окружающего мира.

Прилежно занимался Николай и по институтской программе – увлечённо слушал лекции по истории искусств известного археолога и искусствоведа Б. В. Фармаковского, успешно работал в семинаре по древнерусской литературе профессора

Д. В. Бубриха, старался не пропускать лекций популярного у студентов В. А. Десницкого. Наиболее активные студенты Педагогического института и Петроградского университета ходили слушать лекции в существовавший тогда Институт истории искусств, где преподавали В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Л. В. Щерба, Б. М. Эйхенбаум и другие видные учёные. Трудно себе представить, чтобы Заболоцкий, увлекавшийся в студенческие годы филологией, тоже, хотя бы выборочно, но посещал эти лекции».

ПРОБА ГОЛОСА

Удержаться в Питере, несмотря на беспросветную жизнь впроголодь и постоянные угрозы «чисток», юноше было очень и очень нелегко. В 1923 году от недоедания у двадцатилетнего Николая обострилась цинга, и он даже попал в больницу. Вышел оттуда, прихрамывая от боли в ноге, и одно время ходил, опираясь на палку. А ведь ещё недавно был сельским здоровяком, с густым румянцем на щеках. Тогда же, в 1923-м, его впервые и заметила худенькая улыбчивая первокурсница из Пединститута Катя Клыкова: не по летам серьёзный молодой человек, опершись на самодельную трость, о чём-то оживлённо беседовал с приятелями. «Посмотри, вон тот, с палочкой – Николай Заболоцкий, поэт», – сказала ей подруга...

По немногим сохранившимся стихам того времени видно, что поначалу на сердце у этого студента была тяжкая смута. В «Небесной Севилье» (1921) речь идёт от первого лица, которое называет себя выпрэнно и странно – «профессором отчаянья», снедаемым «тоской». Этими же мотивами пронизано стихотворение «Сердце-пустырь», датируемое 1921–1922 годами:

Прозрачней лунного камня
Стынь, сердце-пустырь.
Полный отчаянием каменным,
Взор я в тебя впери.
С криком несутся стрижи, –
Лёт их тревожен рассеянный,
Грудью стылой лежит
Реки обнажённый бассейн.

О река, невеста мёртвая,
Грозным покоем глубокая,
Венком твоим жёлтым
Осенью сохнет осока.
Я костёр на твоём берегу
Разожгу красным кадилом,
Стылый образ твой сберегу,
Милая.

Прозрачней лунного камня
Стынь, сердце-пустырь.
Точно полог, звёздами затканый,
Трепещет ширь.
О река, невеста названная,
Смерть твою
Пою.

И, один, по ночам – окаянный –
Грудь
Твою
Целую.

Это стихотворение, вместе с двумя другими, Заболоцкий поместил в первом и последнем номере самодельного студенческого журнала «Мысль». Очевидно оно отражало его поиски ритма, но, возможно, было дорого ему и тем, что за печатлело тогдашние настроения. Однако похоже, что душевная смута, отчаяние и тоска усугублялись подсознательным пониманием того, что это пока ещё не самостоятельные стихи, что свой голос ещё не найден. А будет ли найден – ещё вопрос. Потому он, перед лицом звёздной вечности, так обострённо и ощущал своё окаянное одиночество. Тем не менее – в поисках себя – решительно попрощался с прошлой жизнью и прошлыми стихами...

Мудрено сочинителю, тем более молодому, заговорить в русской поэзии собственным, неповторимым голосом – как только что проклянувшейся в ночи звезде засиять на небосклоне, усыпанном сверкающими светилами. Но именно такую задачу Николай себе и ставил, на меньшее не был согласен. Это отнюдь не авторские амбиции – а условия существования истинного художника; не тщеславие – но честолюбие. Иначе просто нельзя тому, кто по-настоящему уважает поэзию и свой труд в ней.

Молодой Заболоцкий целенаправленно, упорно и последовательно шёл к самому себе, изучая прошлых и современных поэтов и одновременно подвергая взыскательному суду свои стихотворные опыты.

Чем серьёзнее художник, тем более и одинок. Одно дело – примеривать, подражая, чьи-то личины, и совсем иное – стать самим собой.

Поэт и художник Игорь Бахтерев впоследствии вспоминал один из эпизодов молодости – посиделки «отцов-основателей» *обэриутства* в доме Даниила Хармса, – по времени это примерно 1926–1927 годы. Молодые поэты то ли в шутку, то ли всерьёз затеяли опрос: кто на кого хотел бы походить?

Хармс ответил не сразу – и неожиданно для всех:

– На Гёте. – И добавил: – Только таким представляется мне настоящий поэт.

«На тот же вопрос ответил и Введенский:

– На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь где-нибудь на Невском беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками.

Надькин – популярный в те годы персонаж из “Бегемота”, ленинградского юмористического журнала. Длинноносый человечек символизировал обывателя нэповских лет. Выбор оказался не случайным, у меня и моих друзей было немало случаев убедиться в этом.

Вспоминаю и собственный ответ. Моделью для подражания оказался Давид Бурлюк, “только с двумя глазами” – счёл я необходимым оговориться.

Игра продолжалась, очередь дошла до Заболоцкого.

– Хочу походить на самого себя, – ответил он не задумываясь.

Запомнились не только серьёзно прозвучавшие слова, но и то единодушие, с которым их встретили Хармс, Введенский, Леонид Липавский. Стоило Заболоцкому скрыться за дверью, тут же его обвинили в эгоцентризме, мании грандиоза, многих других грехах, в равной мере незаслуженно.

Безрезультатно пытался я напомнить, что Заболоцкий действительно никому не подражает, а ему подражали многие. Примеров подражания каждый из нас знал множество.

Всегда и во всём оставаясь самим собой, он не был подвержен распространённому недугу (иначе не скажешь) играть заранее придуманную для себя роль. Актёрство не на сцене – в жизни – было не только чуждо, глубоко отвратительно Заболоцкому».

Без сомнения, точно так же думал Николай и несколькими годами раньше, когда только определялся как поэт, когда никаких «первых результатов» ещё не было и, уж конечно, когда ему ещё никто не подражал.

В студенческой жизни ему некогда было предаваться отчаянью и тоске. Заболоцкий действительно участвовал в создании институтского кружка поэтов, который был назван «Мастерской слова», выступал на вечерах с чтением своих произведений – впрочем, без успеха и видимого одобрения слушателей. С поэтами в рядах будущих педагогов Николай как-то не сошёлся. Среди них выделялся Николай Браун, впоследствии довольно известный стихотворец. В отличие от Заболоцкого, с его ещё не перебродившими мыслями и чувствами, смутными образами и метафорами, Браун сочинял свои ясные, благозвучные стихи в полном согласии с традицией.

«Литературная молодёжь Педагогического института более сочувствовала Брауну, – пишет Никита Заболоцкий. – В ходу был артистический эффект, яркая внешняя образность, склонность к декаденству. К Заболоцкому относились несколько свысока (...). Кое-кто пытался покровительствовать ему и наставлять на путь истинный, что, конечно, отталкивало молодого человека с остро развитым чувством достоинства. Он стал избегать откровенных высказываний о своих взглядах и последовал совету, данному им Касьянову: “Если видишь в себе что-нибудь, не показывай этого никому, – пусть ты будешь для других кем угодно, но пусть руки их не трогают твоего сердца”.

Постепенно Николай стал отходить от активного участия в “Мастерской слова”. В результате, когда с февраля 1923 года в издательстве “Прибой” начал выходить общегородской студенческий литературный и общественно-политический журнал “Красный студент” и молодые литераторы института стали в нём печататься, Заболоцкого среди них не оказалось».

Писать стихов он, конечно, не перестал, но, наверное, стал строже относиться к публикациям – как собственным, так и своих ровесников. Вряд ли его устраивал уровень творчества студентов, коль скоро даже о стихах лучшего из них, Николая Брауна, Заболоцкий отзывался чем дальше, тем пренебрежительней. Николай Леонидович Степанов позже припомнил обычный отзыв в 30-е годы своего друга о Брауне: «Ему бы только молочные бидоны возить» – что касалось, вероятно, усиленному вниманию Брауна к звучности стиха.

После стихотворения «Сердце-пустырь» и до 1926 года из стихов Заболоцкого не сохранилось почти ничего. То ли он всё уничтожил (что скорее всего), то ли никому из друзей стихов не показывал и потому ни один из знакомых ничего не уберёт. Известно только, что на старших курсах института Заболоцкий писал шуточные экспромты своей однокурснице Ане Ключевой, а подруге её, Кате Ефимовой, посвятил вполне серьёзное стихотворение «Любовь», которое сам же потом и сжёг.

Полный курс обучения Заболоцкий завершил в 1925 году, но до весны 1926 года у него оставалась задолженность по педагогической практике в школе. А свидетельство об окончании института он получил лишь в 1927 году...

В августе 1933 года в Ленинграде встретились три друга по юности в Уржуме: Заболоцкий, Касьянов и Сбоев. Михаил заговорил о совместном с Николаем московском голодном житье-бытье, а Сбоев в ответ сказал, что, дескать, и в Петрограде в 1921–1922 годах они с «Николой» немало поголодали. Тут, по словам Касьянова, Николай Алексеевич вдруг оживился и признался: петроградская голодовка была

для него временем плодотворным. Лежал он тогда в кровати без сил от истощения – но «в то же время вырабатывал собственный стиль».

Николай Сбоев оставил свои воспоминания, и начало их относится к осени 1925 году, когда он приехал в Ленинград «для приискания себе места в жизни». Стало быть, с «Николой» они голодали не ранее 1925 года. Очевидно, Касьянов, передавая слова друга, запамätовал точную дату и ошибся на три года.

Разумеется, над созданием своего стиля Заболоцкий думал все годы студенчества, но в 1925 году, по-видимому, в его «наработках» появились явные проблески Дорогое воспоминание!..

Вот что пишет непосредственный участник событий Николай Сбоев в очерке «Мансарда на Петроградской (Заболоцкий в 1925–1926 годах)»:

«У меня был хороший адрес: Ленинград, ул. Красных Зорь, д. 73/75, мансарда, комн. 5.

Этот адрес я предпочёл другим из-за значительности и звучности слов: “Ленинград” и “мансарда”.

Комната 5 до моего приезда была достаточно заселена: в ней жили студенты Педагогического института Блохин Александр Михайлович – тверяк, Заболотский Николай Алексеевич – из Уржума и Резвых Николай Петрович – также из Уржума.

Товарищи потеснились, отвели мне угол и помогли сколотить из большого ящика сооружение для сна.

Жили в нужде; во владении этой братии были предметы фабричного производства – примус, чайник, котелок для варки пищи, связка бутылок для керосина. Другие предметы индивидуального пользования были привезены из дома – это были плетённые из ивы корзины, складные ножики и кое-какая посуда.

Н. П. Резвых был обладателем карманных часов – единственного предмета роскоши на четверых.

У нашей комнаты площадью примерно в десять метров потолок был скошен по ходу крыши, и воздуху в ней было маловато. Окно давало свету достаточно. Вид из окна был превосходен: за Большой Невкой мы любовались частью Выборгской стороны до Политехнического института и Сосновки. Паровое отопление работало исправно, но всё же при северном ветре вода в чайнике застывала.

Стипендия у студентов в ту пору была, видимо, очень незначительна – питались “во вся дни” чёрным хлебом с кипятком. Но в какие-то дни благополучия бывал и приварок – каша с постным маслом или варёная треска. Теперь такой трески нет – нет такого запаха: от одной сваренной трещины дух шёл по всем проходам и комнатам мансарды. Нередко бывали дни полного безденежья у всей братии; флегматичные особи в эти дни томились на ложах своих, а другие изматывали последние силёнки, мыкаясь по стогнам града в поисках любой работы, но работы не было. <...>

В один из таких голодных дней Н. П. Резвых поднялся с топчана, мрачно, без звука исчез.

Бедняга не вынес и продал часы (память об отце); принесённую им снесь мы все вкушали в молчании».

Как бы туго ни приходилось, друзья были духом бодры: читали стихи, спорили о политике и искусстве, пели. «Общее пение допускалось в редких случаях по причине чрезвычайного проникновения звуков во все норы мансарды. Пели мы: “Вечерний звон”, “Быстры, как волны...”, “Вниз по матушке по Волге...”, “Чёрный ворон” и из духовных песнопений – “Хвалите имя Господне...”, “Се жених...”, “Чертог твой...”. Голоса у всех были изрядные, выходило вполне хорошо, особенно в части духовных песнопений».

Изошрялись в шутках, особенно по поводу тяжёлого воздуха крошечной комнаты поутру; Заболоцкий и Резвых рисовали весёлые карикатуры. «Помню, что один из наших товарищей по Уржумскому реальному училищу, Польшнер Борис Александрович, уже успел к тому времени окончить экономический вуз и работал бухгалтером в Сарапуле. Он сразу же там женился, что вызвало в нас, “саврасах без узды”, и жалость, и насмешки. Этому человеку было сочинено сообщая письмо по поводу поспешной женитьбы и перехода к размеренной сытой жизни. В письме описывалась вольная жизнь четырёх отроков в тесной келье с картинкой поклонения в стихарях топору, парящему в воздухе, с надписью: “О, топоре святой, како висиши на воздусе, ничем не держомый, зело блистающ!” <...>

Рвение к учёбе в Пединституте у трёх студентов отсутствовало».

Николай Резвых вскоре порвал с обучением. А Николай Заболоцкий, который окончил институт «скорее для проформы», уже определился и для товарищей, и для многих других как литературный работник.

«Помню, – говорит в конце своего очерка Сбоев, – в 1926 году Н. А. пригласил меня в Дом печати на вечер, посвящённый его поэзии. Зал был полон сочувственной для Н. А. молодёжью. Выступил и я с одобрением его поэзии – в смысле доходчивости для всех живых и простых людей».

Институт был позади; работы не было, ни временной, ни постоянной. Осенью 1926 года кончалась отсрочка от военной службы, которую давали студентам, и Николая должны были призвать в армию. Он по-прежнему жил в мансарде, надеясь, что до призыва не выелят... Но, главное, к Заболоцкому наконец пришли те стихи, которых он так долго ждал – совершенно новые и для себя, и для всех, кто знакомился с ними.

Продолжение следует.

